



В номере:

Публицистика

Олег Дашевский. **Главред с писательским словом посетил Тирасполь** 3

Проза

Георгий Каюров. **Лесник** 6
Виктор Славянин. **Билет до Москвы** 9
Виктор Камеристый. **Семён** 39
Эльдар Бадырханов. **Месяц Марса** 50

Переводы

Ион Прока. **Сосланные** 78

Поэзия

Олег Епифанов 87
Валерий Овчарук 89
Дарьяна Лемтюжникова 91
Лия Сергеева 92
Нелли Зиновьева 94

Дебют

Елена Вивич 96
Мария Однолетко 98

Дневник путешественника

Виктор Гришин. **Тайна старого фундамента** 100
Ирина Коротченкова. **Пора домой** 103

Журнал «Наше поколение» основан в 1912 году.
Выпущено было 10 номеров. Выпуск возобновлен в 2009 году.

**Журнал «Наше поколение» готовится при творческом участии:
Союза писателей России
Московской городской организации Союза писателей России**

Учредитель

Козий Александра Петровна

Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Министерством юстиции Республики Молдова №229 от 18 февраля 2009 г.

Редколлегия:

Главный редактор

Георгий КАЮРОВ

Редактор интернет-журнала

Виктор ХАНТЯ

Главный бухгалтер

Ольга ДОДУЛ

Редакционный совет номера

Николай Переяслов, Михаил Попов, Владимир Силкин, Дмитрий Нечаенко, Ольга Бедная, Анна Кашина, Юрий Харламов, Сергей Власов, Алексей Дука, Виктор Хантя, Иван Дуб, Матвей Левензон, Максим Замшев, Анна Малдофа, Надежда Дёмина, Маргарита Сосницкая, Виталий Ткачев, Сергей Маслоброд, Валерий Реницэ, Игорь Хомечко.

Литературный редактор

Вера ДИМИТРОВА

Корректор

Светлана БРОНСКИХ

Художник-иллюстратор

Эдуард МАЙДЕНБЕРГ

Фотограф

Валерий КОРЧМАРЬ, Юрий ГЕРАЩЕНКО

Дизайн

Издательский Центр «Наследие», Александр Сава, Ольга Дерезинская, Александр Зингалюк

Вёрстка

Вячеслав ЗАДЗИК

Адрес редакции: Кишинев, ул. Пушкина, 22, оф. 317

E-mail: nashepokolenie@pisem.net

www.nashepokolenie.com

Перепечатка материалов без разрешения редакции «Нашего поколения» запрещена.
Присланные рукописи не рецензируются и не возвращаются. Редакция не имеет возможности вступать в переговоры и переписку по их поводу, а только извещает авторов о своём решении.

Олег ДАШЕВСКИЙ

Главред с писательским словом посетил Тирасполь

Когда-то в порядке вещей были встречи писателей с читателями в глубинке. Первые покидали столичные кабинеты и диваны, чтобы пыльными дорогами приехать ко вторым – на собственном авто или на перекладных. Наматывали на колеса десятки сотен километров, чтобы соприкоснуться, пообщаться с «корневым» человеком, услышать биение читательских сердец, ответить на наиболее или вечные вопросы. Набраться сюжетов и персонажей для новых произведений, наконец.

Увы, нынче эта прекрасная традиция забыта. Вернее, почти забыта. Потому что живёт в Кишиневе литератор, который по собственной инициативе, на собственной машине разъезжает по стране и встречается как с подрастающим поколением, так и с пожившим, неся массам писательское слово, рассказывая о себе и деле своей жизни – издаваемом им журнале. Речь идёт о члене Союза писателей РФ, Союза журналистов Украины, Славянской литературной Академии Болгарии, главном редакторе литературного журнала «Наше поколение» Георгии Каюрове.

Не так давно, 18 апреля, встреча с ним состоялась в филиале Фонда «Русский мир» Приднестровского госуниверситета имени Т.Г.Шевченко, куда пришли студенты и преподаватели этого вуза, члены левобережного Союза писателей, представители тираспольской общественности. Они смогли пообщаться с кишинёвским гостем и задать ему интересующие их вопросы.

Георгий Каюров начал с рассказа о появлении на свет своего детища – журнала «Наше поколение». В Бессарабии сто лет назад – в начале XX века – выходило издание на 18 страничках с аналогичным названием, которое основали супруги Надежда и Георгий Тодоровы. Почему одно название? Потому что тогдашний и сегодняшний периоды истории похожи – стык времён.

Затем, давая оценку литературному процессу в Республике Молдова, Георгий Каюров сказал:

«Как выяснилось, «маститые» писатели в Молдове не имеют текстов. Они перестали писать, по старой традиции, в стол, ожидая лучших времён – мол, умру, это найдут и напечатают. Седовласые мэтры собрались и сказали: «В зависимости от того, сколько будешь платить – напишем тебе, что угодно». Это вызвало у меня иронию, потому что настоящий писатель не станет творить за деньги. В итоге пришлось весь 2009 год заниматься ревью: «А что же на поверку есть в литературе Молдовы?» Выяснилось, молодёжь не признаёт седовласых старцев, которые ничего не пишут. А то, что делает молодёжь, образовывается только

в формате всеобуча; а дальше Интернета и других информационных технологий они не отходят. Получилось, что почти все стихотворцы – люди со скудным словарным запасом и вынужденным мелкотемьем. Почему вынужденным? Во времена советской власти существовал госзаказ – на БАМ, на стройки, целенаправленно, работать. И люди писали об этом. Сегодня, за 22 года независимости, сформировалось поколение людей с ментальностью граждан маленького государства, вечно оскорблённых, с небольшим кругозором, мелкотемьем.

Мы напечатали поэму Иона Друцэ. А всё остальное не годится. Спасибо писателям из Москвы, которые стали подкреплять меня литературой и слать, слать, слать. Потому что на местном материале регулярно выпускать журнал не в состоянии даже я, профессиональный чиновник, пробивной, настойчивый и упорный. Я имею в виду только правобережную Молдову. Хотя проблемы у нас общие».

В итоге, за четыре года в 55 номерах напечатано более 3 тысяч произведений примерно 600 русскоязычных поэтов и прозаиков как Молдовы, так и многих стран (России, Польши, Болгарии, Украины, Швейцарии, Италии, Германии, Израиля, США, ЮАР и Румынии). Приплюсовали 10 тех, прежних номеров, поэтому, когда увидите на титуле «53», то знайте, на самом деле вышло 63 номера «Нашего поколения». Благодаря нашему журналу к молдавскому читателю пришли писатели первой величины в современной русской литературе. Три года регулярного выхода журнала поставили новый вопрос: а что дальше?

В 2012-м мне как писателю стало душно. И я затеял создание хрестоматии: нагло, самоуверенно. Лучшее из опубликованных произведений решил собрать под одной хрестоматийной обложкой и предложить молодежи. Взял подшивку «НП» за три года, обратился в горуправление образования Кишинёва (им в то время руководила Татьяна Ивановой Нагнибеда-Твердохлеб). Там подсказали хороших специалистов. Каждому учителю были розданы подшивки за три года. И, согласно куррикулуму, педагоги отобрали произведения по трём рубрикам: проза, очерк и поэзия. Каждое произведение снабжено вопросами.

Поначалу я был против рубрики «Поэзия», так как, на мой взгляд, в Молдове нет настоящих стихотворцев, достойных быть опубликованными. Но как редактор я публикую их, чтобы крутануть колесо застоя и чтобы люди начали работать. Для кого-то первая публикация – это и отстрел. Напе-

чатили – и похоронили. А для других – прыжок в будущее. Если я сегодня не опубликую стихи какой-нибудь барышни, то, возможно, будет задавлен талант. Так что журнал выполняет и социальную функцию. Не могу отказать пожилой поэтессе, опубликовав 5-6 её стихотворений, и тем самым, возможно, продлю на несколько лет её жизнь.

Много усилий не надо, чтобы напичкать программу громоздкими произведениями нобелевских лауреатов. А потом составители программ сетуют на то, что молодежь не читает. «Хотелось бы их спросить: а вы читали все то, что «затолкали» в программу? – продолжил Каюров. – Мы предложили свой срез современного литературного процесса. Половина авторов хрестоматии – наши, местные. И это – здорово!».

«Сам я люблю рассказ и пишу в малой форме, – сказал писатель. – Отношу себя к писателям-современникам и вижу, в какой жесткой динамике живет нынешний человек. Поэтому стараюсь в максимально короткой форме донести максимально много, чтобы не воровать у человека время, но дать ему возможность читать».

По мнению писателя, последние три года выдались очень непростыми для русской литературы, которая в учебном процессе Молдовы постоянно усекается. Молодежь нынче почти не знает русского языка. Это факт, с которым приходится считаться. Но, как оказалось, магнетизм русской литературы никем не отменен. «Учителя, работая с нашей хрестоматией, имеют возможность сказать и свое персональное слово в методике преподавания, оставить свой след в литературном процессе, а не нести только то слово, которое написано двести лет назад», – говорит писатель.

Время изменилось, общество живет другими реалиями, считает Каюров: «Однажды возвращался я домой на машине с багажником, забитым литературой на русском языке. По дороге решил заехать в молдавское село, в лицей с румынским языком обучения. Думаю: коль прогонят, так прогонят. Во дворе обступили меня дети, прибежали учителя с директором. Я услышал: «Очень хорошо, у нас как раз нет русской литературы». Ребятам стала просить: дайте нам русские книги. Директор пригласила в актовый зал, организовала встречу писателя с детьми. И так гурьбой все отправились на двухчасовое мероприятие в актовый зал. Мать одного ребенка потом спросила: «Неужели в Кишиневе ещё в ходу русский язык?» Отвечаю: «Вот он я, русский писатель». И она подытожила блестящей фразой: «Значит, у нас в Молдавии еще не все так плохо».

Я вернулся в Кишинёв и позвонил тогдашнему

советнику по культуре посольства РФ в РМ Юрию Трушину. Спрашиваю: «А куда вы тратите миллионы рублей, которые привозите сюда на укрепление русского языка?» И рассказал этот случай.

«Если сравнить, как принимают меня в качестве писателя в молдавских и русских лицах, то теплее, лучше принимают в первых, а вторые утонули в чванстве и самомнении, совершенно безосновательном», – добавил Каюров. И продолжил: «Как-то встречаю одного румынского поэта в Москве, он депутат парламента Румынии, страшный русофоб, ненавидит Россию. Удивляюсь: «Что ты здесь делаешь?» А он бежит с книжкой – его стихи перевели с румынского на русский – и говорит восторженно: «Ой, какие вы, русские, молодцы!» Я: «Да ты же проклинаешь нас у себя в парламенте». Он: «Это все грязная политика. Ты что, я вас люблю! Георгий, приезжай в Бухарест!».

Выслушав кишинёвского гостя, аудитория засыпала его вопросами. К примеру, просачиваются ли левобережные произведения на правый берег? Георгий ответил, что дважды встречался с приднестровскими коллегами за «круглыми столами», были намечены встречи и выпуск совместного сборника, но дело так с места и не сдвинулось. Со своей стороны он готов предоставить левобережцам ежемесячно 30-40 страниц журнала: наполняйте! А также предлагайте из вашего СП членов в редакционный совет. «Если вы видите в журнале площадку для выражения своих идей – пожалуйста. Я в вас нуждаюсь!»

Прозвучал и такой вопрос: «Русский язык функционирует, меняясь на основании решений, которые принимаются комиссией по русскому языку при Российской академии наук. Слово «Молдавия» на слово «Молдова» АН не меняла. Как вы к этому относитесь?»

«Наша страна называется Республика Молдова! Если Россия нас уважает, то российские чиновники обязаны называть нас так, как решил многонациональный молдавский народ, а не оправдывать свое великоимперское подсознание правилами и нормами языка, – ответил гость. – Румыния называет нас Молдавией с подтекстом – территория, и Россия нас называет Молдавия с тем же подтекстом. Я понимаю, Республика Молдова – маленькая страна, но мы много и не просим, называйте уважительно – Республика Молдова, и это будет по-русски!»

На вопрос об источниках сюжетов выступавший похвастался: «Просто я очень внимательный». И привел в качестве иллюстрации две встречи. «Например, возьмём рассказ «Пелагия». В начале 90-х я ехал как-то ночью... А тогда были

веерные отключения. Еду от села к селу, темно, ни одного фонаря. Вижу, один горит, и невдалеке кто-то сидит – и это в три часа ночи. Я вышел, чтобы спросить дорогу. Жена: «Не выходи, может, это алкаш какой». Подхожу: сидит старушка. Говорю: «Мать, что ты делаешь тут, в холоде?» Она смеётся: «Так в доме умру – никто ж не кинется». Я был потрясён. Вернувшись домой, написал рассказ. Год назад его перевели в Италии. Дело в том, что 20 экземпляров хрестоматии купили для русскоязычного лица в Милане плюс 70 экземпляров для тамошнего университета. Так что в течение трёх лет русскую литературу изучают там по этой хрестоматии. Переводчице Соне позвонила одна студентка и сказала, что Пелагея потому хотела умереть на людях, чтобы не показать, что её односельчане – бесовские, они не хватились бы её. Она взвалила на себя груз моральной ответственности за целое поколение современников.

А в 11-м номере у меня вышел рассказ «Эй, Ганна», который тоже в Италии имел успех. Я сидел в Киеве, в кафешке, попивал чай. Неподальёку беседовали две женщины. Выяснилось, у одной умер муж. («Радуйся, что подохла эта скотина». «Ты понимаешь, он назвал меня Ганной». Заинтересовавшись, я повернулся к ним. А подруга как раз вышла. И вдова объяснила мне, что муж ее перед смертью вдруг назвал её по имени – Ганной. А до этого кликал только «Эй». Приехав в Кишинёв, за 40 минут написал рассказ. И когда Соня перевела на итальянский, то пришли оттуда несколько электронных отзывов. Оказалось, проблема лежит на поверхности. Мы перестали обращаться друг к другу по имени. «Слышишь, дай мне то-то!».

Мы, люди, перестали общаться друг с другом по-людски.

Внутренне мы стали аморальнее, – считает Георгий Александрович. – И я, как писатель, должен об этом говорить! Кратко, внятно, жестоко и хлестко, просто на убой. Говоря о самых простых вещах, пытаюсь отображать социальную жизнь человека».

Каюров поведал также, что ныне заканчивает вторую часть книги о жизни воспитанников духовной семинарии. Отправлен в типографию сборник его рассказов, опубликованных в журнале за 2011-2012 годы. Всего в этом году должны выйти три книги: одна на русском языке и две в переводе – на болгарском и итальянском.

Прозвучал вопрос, как он, человек с явно минорным настроением и вектором уныния (смертного, между прочим, греха) мирится с этим у себя внутри? На что последовал ответ: «Наша русская литература – вся на трагедии. Крупин говорит: «Читаю тебя и вижу, что не оставляешь человеку просвета. Дай где-нибудь хэппи-энд». Согласитесь, что душу развивают страдания, а не счастливое состояние. Ведь в моих произведениях нет нытья. Есть только мои ощущения того, что вижу. Вечное благополучие душу превращает в шишак (железный шлем)».

Встреча кишинёвца с приднестровцами прошла без налёта сахарной глазури, а, скорее, носила отпечаток дискуссионности. А это, пожалуй, главное отличительное качество живого общения, а не мейнстрима для галочки.



Георгий КАЮРОВ



Лесник

Рассказ

По лесной дороге, иногда утопая по самую крышу в густой траве, мягко катилась голубого цвета «Нива». Это осматривал своё угодье лесник Михаил Фёдорович Албанец. В Запорожском лесничестве Албанец работал с конца шестидесятых годов. Он любил свою профессию и до тонкостей знал её секреты. Об Албанце коллеги говорили: «Он незаменим», и потому стоял на почётном месте у областного начальства. Введение в стране программы «Перестройка» Михаил Фёдорович поначалу воспринял с энтузиазмом, но уже к концу восьмидесятых потерялся в своих ощущениях, а главное – в понимании этой самой программы. По всей стране лютовал «цивилизованный голод», как называл

происходящее Михаил Фёдорович. Многие товары первой необходимости отпускались по карточкам и талонам.

– Даже в голодовку мыло раздавали бесплатно, – с горечью признавал Албанец.

Зарплату выдавали редко и зачастую продукцией, которую рабочие сами же и производили на предприятиях. Стало привычным явлением: ткачиха швейной фабрики пыталась обменять зарплату, выданную носками, на деньги; или электрик трансформаторного завода – украдкой продавал на рынке шашлычницу, которую сам сделал и которой с ним расплатились. Не получилось сразу сломать мозг у народа и затолкать в него спекуляцию, как норму. В речи появились незнакомые, отпугивающие слова: бартер, зачёты, коммерция, доллары, консенсус. Народ чувствовал их варварское происхождение и потому всегда произносил со злой иронией или пренебрежением.

На днях к Михаилу Фёдоровичу из Молдавии приехала в гости сестра Анна. Ей захотелось погулять по лесу, и она упросила брата показать, где он работает. И вот Албанец взял сестру с собой на утренний обход. Они объезжали западный массив, раскинувшийся справа от трассы союзного значения Москва – Симферополь.

– Почему в машине бензином воняет? – оглядываясь назад, поинтересовалась сестра.

– Вожу с собой две канистры запаса, – пояснил Михаил Фёдорович. – Бензин урезали. Дают по десять литров на день, а сколько проедешь на них?! – брат улыбнулся сестре и покрутил ручку, опуская стекло. – Сейчас проветрится. После ночи накапливается.

– Красиво! Хорошо-то как! – восторгалась Анна, рассматривая округу. – Здорово, рядом миллионный город. Ты слышишь? – неожиданно сказала Анна, жестом руки показывая, в какую сторону надо обратить внимание. – Михай, ты слышишь? – повторила она возбуждённо и наклонила голову.

Михаил Фёдорович притормозил и вытянул шею, сузил глаза, вглядываясь в сторону лесного массива, на который указывала сестра, и покачал головой.

– Нет. Ничего не слышу. Может, показалось?

– Ничего не показалось, – упрямилась сестра. – Я ясно слышала, там рубят.

– У нас такое стало часто, – Михаил Фёдорович снова умолк, ловя каждый звук. – Нет. Не слышу.

– Ладно, – примирилась Анна. – Ты почему домой не приезжаешь?

– Мой дом здесь, – тихо проговорил Михаил Фёдорович.

– На родительский день я была на могиле мамы и папы, – с тревогой в голосе заговорила сестра. –

После их смерти ты ни разу не приезжал.

– Что ты от меня хочешь?

– Там родина твоих предков, – и после небольшой паузы добавила: – наконец, твоя родина.

– Мы нашей родине не нужны, – с горечью в голосе проговорил Михаил Фёдорович. – Я последний из рода Албанцев, Михай Албанец – умру на этой земле.

– Я тоже из рода Албанцев! – с вызовом в голосе сказала сестра.

– Ты мужняя жена и рожает не Албанцев, а... – Михаил Фёдорович запнулся, вспоминая фамилию сестры, но, не вспомнив, шёпотом проговорил. – Кого ты там рожает?

– Брось, – примирительно сказала сестра. – За что ты его не любишь? Он мой муж.

– Я не его не люблю. Я не люблю деревенщину в нём, – едва потеплевшими глазами Албанец посмотрел на сестру.

– Не было других, – согласилась она, выдав и свою горечь, которая, по-видимому, была заткнута

куда-то далеко, и вот теперь брат выковырял её из этих глубин и Anne загрустилось. – Где твои знатные роды? Тански, Асани?

– Рази, Хрисоверги, – продолжил Михаил Фёдорович. – И многие и многие. Все кончились. Теперь наши женщины рожают детей для деревенщин.

Сестра не ответила. Они медленно объезжали огромный массив. В долине виднелся индустриальный город, со своими кварталами высоток и трубами заводов. На одном из подъёмов, когда они пересекли опушку и на открытом месте открылся вид на весь город, Анна спросила:

– Что это?

– Это доменные печи, – даже не взглянув, пояснил Михаил Фёдорович. – Там погиб мой сын.

– Ну, да, Славка был металлургом, – припомнила Анна.

– А ты говоришь – родина. Тут моя родина. Здесь похоронен сын. В этой же земле лежит моя жена, – Михаил Фёдорович тяжело вздохнул и дрогнувшим голосом ответил: – Куда я от них поеду? Рядом с ними и упокоюсь.

Снова воцарилось молчание.

– Нет. Ты слышишь? Опять это место, и снова ясно слышно – в лесу рубят.

– Не слышу.

– Вот-вот, смотри, есть дорога, – возбуждённая сестра указала на едва заметную дорогу, точно такую же по которой они ехали, протоптанную в густой траве. – Сворачивай.

– Хорошо, – согласился Михаил Фёдорович, останавливая машину и сдвигая назад.

– Я отчётливо слышала, – настаивала сестра, прильнув к торпеде и внимательно всматриваясь в глубь леса. – Едь медленно по этой дороге и не разговаривай.

Они свернули и поехали, куда она указывала. Прямо перед ними открылась широкая просека. Солнце поднялось высоко и палило. Анна высунула голову в открытое окно и следила за тем, как внизу мелькает трава, как красивые лесные цветы приминаются под колёсами автомобиля, высунула руку, и о ладонь стали биться метёлки ложного овса, а щека чувствовала на себе горячие лучи солнца.

– Замри! – шёпотом выпалила она и замахала рукой, показывая мимо брата. – Там рубят. Чего же ты сидишь?

– Даже если рубят, – упрямылся Михаил Фёдорович, ему не хотелось покидать машину. – Что я им скажу?

– Ты же лесник?! – удивилась сестра. – Поймаешь с поличным. Ты же должен пресекать незаконную вырубку леса?! Может, ты стал бояться нарушителей?

– Ничего я не стал, – огрызнулся брат. – У нас таких незаконных вырубок знаешь сколько? – противился Михаил Фёдорович. – У нас людей незаконно вырубают, и ничего. Зарплату мне пятый месяц дровами выдают.

– Это может быть оправданием? Какой же ты хозяин?

Михаил Фёдорович покорно вышел из машины, с укором взглянув на сестру. Ему не понравилось то, что она усомнилась в его хозяйской хватке.

– Хорошо. Поймаю я их и что, по твоему уразумению, прикажешь делать?

– Не знаю, – растерялась Анна. – А что в таких случаях делают?

– В таких случаях не рубят лес, – грубо отрезал брат и направился в лес.

– Ну, не потакать же ворами?! – упрямылась Анна.

Михаил Фёдорович, ловко переступая через густую траву, направился к лесу. Анна осталась в машине, на всякий случай, со своей стороны подняв стекло и опустив фиксатор двери, она нагнулась и стала следить за фигурой брата. Он медленно продвигался вперёд, иногда перепрыгивая на своих длинных, тонких ногах через кусты ежевики. Раз или два он спотыкался и однажды едва не упал. По движению руки Анна угадала, брат полез в карман за платком. И в ту же минуту рука брата поднялась и обтёрла лоб.

Михаил Фёдорович скрылся в лесу, и Анна тревожно осмотрелась по сторонам.

В лесу наконец и до его слуха долетел лёгкий стук топора.

«Не ошиблась! Надо же какой слух! – удивился он, подумав про сестру. – И всё-таки зачем я иду?»

Михаил Фёдорович охотно повернул бы в противоположную сторону, но гнали его вперёд эта презрительность и укор, которые сквозили в голосе Анны. И он решил схватить нарушителей и продемонстрировать сестре на наглядном примере, в какую волокиту она их втянула. Это же будет убит весь день, а то и следующий. Нарушителей надо отвезти в милицкий участок, составить протокол, довести дело

до суда, чтобы получить с них штраф, и так далее и далее. А там глядишь и отпуск у сестры закончится. Он морщил лоб от этих размышлений и тихо, так, чтобы не слышно было в двух шагах, откашлялся, прочищая себе голос. Ведь предстояло орать, и грозно! Михаил Фёдорович прислушался, его слух потерял стук топора.

Вдруг глаз выхватил между оголёнными стволами деревьев движение человеческой фигуры. В ту же минуту снова раздался стук, и на землю медленно, с шумом повалился большой сухой сук. Михаил Фёдорович быстро спрятался за дерево; он никак не мог предполагать, что нарушитель окажется так близко. Человеческая фигура нагнулась, подняла сук и потащила в сторону к целому вороху сложенной суши. Теперь Михаил Фёдорович отчётливо разглядел дровосека: это была женщина, голова её покрыта платком, штанины подкатаны так высоко, что открывали белёсые, словно высохшие, ноги. Она двигалась медленно, собирая нарубленную сушь. Сгибалась и разгибалась с трудом, и от этого движения её казались ещё более медленными. Руки, чтобы рубить, напрягались чрезмерно, и от этого женщина быстро уставала. Давая отдохнуть руке, она тыкала её локтем в бок, ставя на выпирающий мосол.

Михаил Фёдорович наконец оправился от неожиданно представшей картины и готовился выступить из засады. Он даже напустил на себя грозный вид и как непоколебимый судья сделал шаг в сторону нарушительницы. Вдруг вблизи вязанки что-то зашевелилось, и Михаил Фёдорович ясно услышал плачь ребёнка. Женщина торопливо бросила топор, пугливо оглянулась, едва не обнаружив быстро зашедшего за дерево наблюдателя, и достала из травы что-то небольшое, увёрнутое в серое. Пока расстёгивала блузу, обнажаясь, она потрясла свёрток в одной руке и бережно приложила к груди. Михаил Фёдорович отчётливо видел её лицо, ещё молодое, но уже бесцветное, с впалыми щеками и тупым, равнодушным взглядом в глубине выступающих скул. В короткий срок стремительной скорости, с которой набирала зловещую силу горбачёвская перестройка, он часто стал видеть подобные женские лица. Впервые он обратил внимание на такое лицо у своей жены. Тогда она, тяжело больная, лежала в больнице. Врачи поддерживали в ней жизнь, но всегда отводили взоры, когда он приходил. Албанец с силой нервно потёр лоб, желая стереть наваждение – у неё было такое же выражение. Он с горечью подумал, хорошо, что жена не дожила до сегодняшних дней. Они вдвоём так искренне радовались переменам, которые обещал Михаил Горбачев, как бы она пережила всё это, если бы увидела истинное лицо того, к чему привёл нас этот демон. Как бы она пережила то, что лица женщин станут вот такими?

Что же собственно он должен делать? Выйти из засады, напугать до полусмерти эту и без того уже напуганную, загнанную женщину? Видеть её ужас, слышать её мольбы о пощаде, видеть её горе и... Отнять у неё эту дрянь, набрать которую ей стоило столько трудов, обвинить в краже, лишить тепла и горячей пищи её детей, таких же тощих и обездоленных и загнанных в угол перестройкой? Михаил Фёдорович пристально всмотрелся, что делается поодаль, ища глазами хоть какие-то намёки на жилище. Это одни из тех, кто подался из голодающего села искать в городе счастья. Муж скорее всего на заводе.

Женщина продолжала кормить ребёнка и в то же время тревожно оглядывалась по сторонам. Михаил Фёдорович прижался к стволу, ему показалось, она почувствовала слежку. Впервые в жизни он струсил. «Может, подойти, наставить на путь истинный, указать на то, что детям грудным не место в лесу, наконец пристыдить и отпустить?» – терзали противоречивые мысли Албанца. Какой-то неестественный гнев нахлынул на него, и он с силой ударил по стволу. «До какой лживой и бессмысленной показухи я додумался!» Одна мысль, что его появление вызовет испуг у этой кормящей женщины, почти ужасом охватившая его, стала Михаилу Фёдоровичу настолько невыносима, что он отступил. Осторожно переставляя ноги, выискивая тихое место для шага, чтобы ни сучка, ни сухого листочка не попало, он пробирался среди кустов и деревьев обратно к машине. Если не удавалось ступить бесшумно, он с тревогой оборачивался и старался спрятаться за стволы. Когда под ногой слабо хрустнула ветка, он резво присел, на лице его отразился испуг, а в груди потяжелело сердце, переполняемое кровью. Ещё долго его глаз выхватывал среди деревьев кормящую женщину. Ему даже показалось, что та задремала. «Ну и славно», – покачал он головой, сам себя успокаивая.

Выходя на поляну, Михаил Фёдорович выпрямился, облегчённо вздохнул полной грудью и быстрыми шагами направился к машине.

– Поймал? – вопросом встретила его сестра.

– Никого. Тебе показалось, – сухо ответил Михаил Фёдорович.

Сестра пытливо всмотрелась в лицо брата, он хотел ответить ей таким же прямым взглядом, но покраснел и отвернулся.

Виктор СЛАВЯНИН



Билет до Москвы

Повесть

1

Тайга, ревностно таившая поезд, вдруг отступила от железнодорожного полотна. Её сменил высокий, редкий, безлистный кустарник. За ним вдоль насыпи потянулась тёмная стена из трёх рядов колючей проволоки, напоминавшая рыболовецкую сеть, вывешенную на бетонных столбах для просушки, обрамлённую сверху рваными остатками Бруновской петли, свисавшими с пятиметровой высоты, как ольховые сережки с веток. Пассажиру, праздно глядящему в окно, могло показаться, что поезд, как нерасторопная щука, втягивается в горло верши.

За колючками – бараки под стальными крышами. Из серо-белых стен в местах, где отвалились большие куски штукатурки, выглядывал тёмный кирпич. Приземистые, они стояли в ряд, напоминая пегих лошадей у коновязи...

Вдруг выросла высоченная сторожевая башня, похожая на пожарную каланчу. За ней другая, третья...

С противоположной стороны полотна проползла длинная белая стена станционного склада с крохотными зарешечёнными окошками под крышей. Её сменили, загнанные в тупик на умирание, шесть серебристых рефрижераторов, густо измазанных ржавыми потёками. За ними, как редкие летние грибы-свинухи с серо-тёмными шляпками, выросли шиферные крыши невысоких домиков. Из труб некоторых в пасмурную высь тянулись ленты белесого дыма, добавляя небу и без того лишнюю серость.

Поезд резко замедлил ход.

– Усть-Башлык! – крикнула проводник в полутёмный вагон. – Кто выходит? Стоянка – минута... одна!

С нижней боковой полки из середины вагона поднялся плотный мужчина выше среднего роста в сером милицмейском плаще с погонами капитана и, стараясь не зацепиться лицом и плечами за торчащие в проход ноги лежащих пассажиров, пошёл к выходу.

– Постельную квитанцию, – нервно сказал он проводнице, войдя в тамбур.

– Не могли раньше взять? – Девчонка недовольно искривила губы. Юркнула в вагон и вернулась с маленькой серой бумажкой в руке.

– Нате, – в голосе звучало презрение к жадному милиционеру. – Полотенце сдали?

Капитан не ответил. Сунул билетик в нагрудный карман френча и, торопливо застегивая форменный плащ, подошёл к окну противоположной двери тамбура. Стоять рядом с проводником ему не хотелось.

Из-под колёс донеслось усталое шипение тормозов. Поезд остановился.

Капитан прыгнул на бетонный перрон и пошёл вдоль поезда к зданию станции. Мимо него пробежали две женщины, волоча за собой увесистые клетчатые сумки. Одна громко, призывно кричала кому-то из проводников, нервно взмахивая свободной рукой:

– Задержи, милая! Задержи!..

Вторая, поравнявшись с капитаном, задыхаясь, выпалила:

– Здравсьте, Богдан Орестович!

Капитан кивнул в ответ и подумал: «Ну, базарное бабье племя! Поезд раз в сутки... Не могут на полчаса раньше свою торговлю запаковать... Опоздать – любимое дело! Недоторговали...»

Вагоны медленно тронулись, обгоняя капитана.

У здания станции на перроне невысокий щуплый человек в тёмно-синем френче и форменной красной фуражке держал в вытянутой руке жезл, напоминавший детскую лопатку, и нервно помахивал им, подгоняя состав.

– Как съездил, товарищ Зануда? – весело крикнул человек в красной фуражке, провожая взглядом удаляющийся последний вагон.

– Нормально. – Капитан протянул руку дежурному. – Какие происшествия за праздник, товарищ Терлецкий?

– От я какой вывод делаю, товарищ участковый... Без тебя тоже можно жить. Никаких происшествий. Помитинговали на площади вчера. Наша Валентина полчаса говорила. Ты был бы, и тебя бы заставили с трибуны призвать народ к порядку...

– Я каким боком к Девятому мая, Иван Палыч?

– Как ни крути, ты – второй человек у нас после начальствующей бабы. И только ты при погонах.

– У тебя, вон, тоже погоны. Ты бы и выступил... – засмеялся капитан.

– У меня погоны, как у индюка борода. Он её носит, а зачем – сам не понимает. А у тебя самые настоящие, державные...

– Издаля начинаешь, Иван Палыч, – ответил капитан. И настороженно спросил: – Что-то всё-таки произошло?

– Дело праздничное... Как же без происшествий?! Напились, подрались. Первый раз что ли? Благо, водка не по часам и не по талонам теперь... Скажи лучше, что привёз? – Дежурный заглянул в глаза Зануде. – Как нам документы оформлять?

– Обещали через неделю прислать человека из райотдела. Он выдаст специальную бумажку, чтоб не ездить народу в район... Придётся, распишетесь... Только нужно будет собрать денежек на билеты человеку. Сюда и обратно. Ну и угостить... И гуляй, рванина!..

– Это ты хорошо придумал. Каждому в район мотаться – три дня терять... А накормить человека – дело пустяжное... Лосятинки солёной можно отвалить... И грибочков в дорогу. У меня с прошлой осени банок двадцать осталось... Опятки да маслятки... А ты заявление подал на увольнение?

– Ещё нет. Если бы написал рапорт, что увольняюсь, то не позволили бы человеку к нам ехать.

– А я уж подал. Потребовали два месяца отработать. Некем заменить, говорят... Но я согласился только максимум на один... Я тебе скажу по секрету... Втихую собираю монетки. У меня в управлении дороги человек хороший есть. Обещал всем нашим контейнеры пригнать по первому звончку... Бабка Сонька приходила просить большой контейнер. А я ей: «Зачем тебе большой?» А она так серьёзно: «Так у меня две козы и козёл. Их в вагон не пускают... Кассирша билет не даё»... Тебе по дружбе заказал большой... А себе два... придётся.

– Ваня! – засмеялся капитан. – Иван Палыч, окстись! Какой контейнер? У меня кровать раскладная, и та в долг взята... А то ты не знаешь, что я сам в милицейском обезьяннике ночую.

– Дом-то всё равно есть. Там и... Ведь, почитай, всю жизнь прожил... Что-то накопилось...

– Хороша Маша, да не наша! – перебивая, недовольно отрезал капитан. – Ладно. Пойду. А то с тобой лясы точить до вечера можно.

– ...а на новом месте с голыми руками нельзя, – дежурный говорил, не слушая капитана. – Хоть какой топор и пила нужны... Может, перехватишь? У меня есть. Закусим?

– Сначала на службу схожу. Обещал районному начальству отзвониться к двенадцати. – Капитан глянул на часы. – А уже половина двенадцатого. Оно должно быть уверено, что правоохранные органы уже дома... И не дремлют.

– Господи, что с людьми телевизор делает?! Простой участковый, а туда же! На весь посёлок один, как нос меж глаз, а – правоохранные органы... Вечером заглянь... Моя обещалась вареников с мясом налепить...

– Постараюсь. – Капитан Зануда махнул рукой, соглашаясь, и скрылся за углом станции.

– И Терезку не забудь прихватить! – крикнул вослед дежурный.

2

Усть-Башлык – одна длинная асфальтированная улица с тротуарами из досок. Она начинается от железнодорожной станции и уходит в тайгу. Там, вдалеке упирается в огромные зарешеченные ворота, на левой половинке которых висит стальной, запаршивевший ржавчиной, щит с еще заметным предостерегающим напоминанием: **ОСОБЫЙ ОБЪЕКТ СТРЕЛЯЮТ БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ**.

В обе стороны от этой надписи тянется трёхрядная колючая стена...

В конце марта 45-го года, когда война грохотала по Германии, на двести девятом километре самого затяжного семисоткилометрового перегона Транссиба остановился паровоз, притянувший за собой три вагона. Из них вышли два десятка людей в погонах на белых овчинных тулупах. На насыпь торопливо выгрузили гору деревянных ящиков и десяток треног. И паровоз укатил, освобождая колею скорому поезду «Москва – Хабаровск». В полукилометре от дороги поставили палатки. При каждой дежурил часовой, а у центральной – двое.

Когда устроился лагерь, четверо вооруженных автоматами ушли в тайгу и вернулись через два дня, конвоируя три десятка эвенков, укутанных в оленьи шкуры. Раздали туземному народу пилы, топоры и приказали валить лес.

Эвенки работали три дня. А в ночь на четвёртый, когда налетела снежная буря, исчезли. Из палаточного лагеря отправили вооружённый отряд на поимку беглецов. Но места двух огромных эвенкийских стойбищ оказались пустыми. Даже оленьих следов после мартовской вьюги нельзя было отыскать.

В начальственной палатке долго совещались, стараясь составить оправдательный текст радиотелеграммы, и наконец передали:

«На указанных стойбищах местных нет. Начали просеку своими силами. Просим прислать двести ящиков мыла и пятьдесят банщиков».

Через неделю подошёл паровоз, но уже с десятком вагонов на хвосте. Из двух крайних выскочили военные с собаками. Окружили состав. И под злобный лай и рычание овчарок на насыпь стали выпрыгивать заключённые...

Долбили мёрзлую землю, в неглубокие шурфы зарывали ошкуренные бревна, выпиленные из молодого кедрача и лиственниц, на столбы набивали квадратные костыли, похожие на подковные гвозди, и цепляли за них колючую проволоку... Временный лагерь поставили за неделю. И каждое утро под неусыпным желтозубым оскалом собак заключённые с топорами и пилами уходили в тайгу, оставляя за собой широкую просеку.

«Зека»-народ болтал разное. Одни – просека кончится у какого-то рудника, другие – выйдет на берег реки, в песке которого много алдана¹.

Из первой партии «мыла» до «алдана» не дошёл никто. Хоронили безвестных лесорубов под надзором «банщиков» чуть поодаль от просеки, воткнув в свежий могильный холм колышек с табличкой, на которой известковой краской был выписан номер. Уже второй дождь полностью смывал известь...

В один из безночных июньских дней просека вдруг повернула на юг. И к осени снова вышла к рельсам Транссиба. Как раз на этом повороте и устроился Усть-Башлык. Кто придумал это название, в людской памяти не удержалось.

Военные по просеке уложили железнодорожную однопутку. В сотне метров от насыпи поставили двухэтажный дом из толстенных брёвен лиственницы и прибили над входной дверью дощечку: КОМЕНДАТУРА.

Лагерную колючку вместе со столбами у Транссиба вырвали из земли и перевезли в Усть-Башлык. Добавили к ней ещё несколько километров, отхватив от тайги огромный кусок. Разбили околоченное пространство на две равные половины.

В начале 46-го в новый Усть-Башлык прибыл первый полновесный эшелон с мужиками, женщинами и детьми. Мужиков определили в правую часть зоны, женщин с детьми – в левую. Поначалу прятались от морозов в палатках. По весне мужиков стали гонять в тайгу валить лес. Три дня – в тайге, три дня – в зоне. Пока мужская часть работала в зоне, бабы на лесоповале рубили сучья и, организовавшись в бурлацкий цуг, выволакивали на себе брёвна.

Поставили бараки...

Валили лес, грузили на платформы...

И потянулись за колючей проволокой однообразные дни, тоскливо-тягучая житуха, с одной пронизывавшей всех мыслью: скорее бы день до вечера.

А в Усть-Башлыке тоже дрожжевала жизнь. Привезли два десятка эшелонов силикатного кирпича. «Зека» выгнали стены станции в три этажа, поставили длинный пакгауз. По сторонам единственной улицы рубили дома. Первым заселилось лагерное начальство. Дальше в тайгу, ближе к зоне, селили простых охранников.

Поставили двухэтажную школу для детей охраны. Даже привезли учителей. Но через год все как один учителя съехали под разными предлогами. И надзиратели, чтобы не накликать на себя гнев краевого начальства, вынуждено было искать учителей из зеков. Благо, их было много. Утром учителей «из-за проволоки» водили под конвоем в школу, а после семи вечера – обратно. Они преподавали всё, кроме русского языка и истории. Русского «учителя из-за проволоки» не знали в достаточной степени. Выписали особого человека из края. Тот за три месяца обучил пятерых. А на уроки истории поочерёдно приходили директор школы, учивший детей военному делу, и парторг зоны, майор, который был убеждён, что Spartak воевал в Первой конной армии.

Вскоре на крутой смеси польского, немецкого, мадьярского языков и украинского со странными добавками к словам «сы» свободно говорила вся усть-башлыкская детвора. И самой любимой песней после: «...Над крылечками дым колечками и черёмуха под окном...» была разудалая: «Ой, чорна я сы, чорна, чорнява, як циганка, чом сы полюбыла, чом сы полюбыла чорнявого Иванка? », которую пели под гармонь в своих дворах подвыпившие охранники.

Начальство запрещало петь «бендеровские» песни, но потом смирилось, не найдя в них ничего предосудительного. Всё равно кроме ближнего кедрача их никто не слышит.

К 56-му году народу в зоне крепко поубавилось.

В тот же год, в какой-то из весенних дней «зеков» не выгнали на лесоповал. Целую неделю народ шлялся между бараками в нервном неведении. Тревогу нагнала таёжная тишь, вдруг проникшая из-за проволоки. Исчезли куда-то «баншики» со своими собаками. Неожиданно съехало почти всё лагерное начальство. Ворота зоны раскрылись, и зекам объявили, что они теперь свободны... Но безвыездно. Свобода заканчивалась у железнодорожной станции. Приказано было мужьям разыскать жён и детей. Тех, кому это удалось, расселили по опустевшим домам охраны. Остальным предложили строить жильё самостоятельно. Благо, за лес платить не требовали – вали и строй.

На второй этаж комендатуры заехал леспромхоз. На первый этаж перевезли лагерную больничку.

Дети из зоны пошли в школу. В первом классе сидели малышня и переростки, которым через год-другой впору было уже жениться или выходить замуж.

Лес перестали бурлачить. Хлысты на трассу вытягивали трелёвочными тракторами. Правда, грузили брёвна в вагоны всё равно вручную, придумав подъёмные краны, похожие на колодезные журавли.

Одно осталось неизменным. Председателем исполкома, или по-местному начальником посёлка, остался главный «вертухай»², бывший начальник зоны Захар Куроцапов. Высокий, грузный, ходил он по улице «вольного» посёлка важно, выпятив живот, заложив руки за спину. Глядел на мир полуприкрытыми глазами сверху вниз, считая посёлок продолжением зоны. Иногда казалось, он спит на ходу. Только теперь одевался Куроцапов в гражданский костюм из габардина кофейного цвета – однобортный пиджак и широченные клёши по моде сорок шестого года.

Председатель несколько раз писал заявление с просьбой переселить его и семью куда-нибудь на материк. Но краевое начальство, зная нрав и «заслуги» Куроцапова перед страной и партией, упорно отказывало, справедливо опасаясь выносить заразу из тайги. В награду за согласие безвыездно казнить и миловать в Усть-Башлыке, «вертухая» держали в начальственном кресле ещё пятнадцать лет. И в качестве сладкой пилюли приняли его дочь Валентину в краевую Высшую партшколу без комсомольских и партийных ходатайств.

На Седьмое ноября, Первое мая, а потом и Девятое Куроцапов надевал галифе и френч без погон, украшенный тремя рядами медалей. Выходил из дома, неспешно шагал сотню метров до площади перед станцией, тяжело забирался на наспех сколоченную праздничную трибуну. Монументально стоял, теребя пальцами правой руки разноцветные кругляшки-награды, которые камертонно звенели, как аккомпанемент выступавшим. Особенно любил Захар Куроцапов День Победы, потому что только у него единственного во всём посёлке были «военные» награды, хотя ни одного дня и часа он не провёл на фронте и даже вблизи его.

На митингах всегда выступали директор леспромхоза и парторг. Хоть эти начальники менялись с абсолютной регулярностью – раз в два года, слова они говорили одни и те же. «Вольные» поселковые мужики, приходившие на красно-лозунговую площадь в праздничных белых рубашках и галстуках, с ленивой безразличностью слушали начальственные речи об успехах и недостатках в работе леспромхоза, нетерпеливо поглядывали на часы, подгоняя взглядом стрелки к двенадцати. К этому времени открывался в единственном магазине водочный отдел. Ради этого они и ходили на митинг.

Наслушавшись вдоволь трибунных заклинаний и заверений, народ хватал водку, специально завезённую к празднику – бутылку в одни руки – и расходился разговляться по домам.

Леспромхоз работал двенадцать лет.

И вдруг среди лета в Усть-Башлык нагрянуло важное начальство. Два десятка гостей деловито ходили по посёлку, о чём-то разговаривали и даже громко спорили, заглядывая через штакетники заборов во дворы. Целый день осматривали заброшенный, запустевший лагерь, бродили вокруг остатков бараков, стены и стропила которых местные давно растащили на дрова. Один из приехавших, похожий на вьюнка, даже взобрался на дальнюю, чудом уцелевшую сторожевую вышку.

Ещё день комиссия просидела в кабинете поселкового начальника. С тем и уехали.

Через неделю леспромхоз закрыли.

А с материка эшелон за эшелонам стали приходить в Усть-Башлык горы кирпича и цемента, железобетонные столбы длиной в восемь метров и стальные конструкции. Мужики, работавшие на разгрузке, радостно гадали на своё счастливое будущее. Одни «бендеровцы» уверяли, что у них будут строить секретный ракетный завод. Другие – секретный полигон для самолётов. Но когда прикатил вагон, доверху набитый бухтами с детства знакомой колючей проволоки, радость как-то в мгновение умерла.

Бывших леспромхозовских стали набирать на работу.

Зону возвели за год.

За неделю перед сдачей начали звать в охрану. Залётных рабочих не брали, а только местных, безвыездных.

Одели, обули, провели инструктаж и объявили, что зона в Усть-Башлыке особая. Здесь будут содержаться «самые-самые кровопивцы и насильники», опаснейшие рецидивисты. И приказом рекомендовали с будущим контингентом избегать контактов.

Первый вагон пригнали уже через месяц. Охрану выставили вокруг станции. Но новые охранники, помнившие еще старые конвои, удивились, что им не выдали оружия, и встречать «кровопивца» и «наильников» будут без собак.

Урок оказалось шестеро. Четыре мужика и две молодые женщины. Они спустились по ступенькам на платформу и стали тихо переговариваться, не обращая внимания на охранников. На вид каждому из них было лет по тридцать. И выглядели они совсем не по-бандитски. У охраны поначалу сложилось впечатление, что эти шестеро приехали не в тюрьму на годы, а на весёлую прогулку в лес, чтобы на своей шкуре испытать прожорливость комаря.

К ним подошёл начальник лагеря, подполковник, представился, негромко выкрикнул фамилии, читая из списка. Удовлетворённо кивнул и ушёл, приказав отвести заключённых в столовую.

Через год зона была заполнена.

Поначалу с урками говорили грубо, с матерным припевом. Но как-то само случилось, что тихая, почти дружеская манера общения «зеков» друг с другом передалась и охране. В присутствии женщин никто не скабрёзничал. Да и мужики перестали вставлять любимую «блю» через слово. И снова всё повторилось, как когда-то в далёких сороковых. Учителя из школы сбегали, не проработав и года. И начальство вынуждено было приводить преподавателей из зоны. Поначалу учителей конвоировали, а потом это надоело. Они сами ходили в школу, как на работу, к половине девятого и возвращались за колючую проволоку к вечернему «шмону»³. Долговязый преподавал математику и физику, две молодых женщины учили местную детвору грамотному письму и русской речи. На выбор предлагался любой из иностранных языков. Благо, среди «уркаганов» чуть ли на каждый второй знал по два. Только для истории и обществоведения учителя в зоне не нашлось. «Рецидивистам» эти предметы не доверяли. Лишь потому, что все тянули срок по единственной статье «семь плюс пять»⁴. Эти не самые важные предметы с горем пополам осиливал директор, он же парторг, по специальности физкультурник и преподаватель труда. И школа выпускала «специалистов» по пошиву рабочих рукавиц, таких же, какие строчили в зоне «урки».

В башлыкском медпункте хозяйничал сорокапятилетний московский хирург, привезённый в зону во втором или третьем этапе.

В бараках говорили: «Тянет срок за то, что не верит в будущее». Это была и правда и ложь... На митинге, посвящённом закладке первого камня в фундамент нового корпуса института, в котором хирург учился и где заведовал кафедрой, будучи под крепким подпитием по случаю удачной операции на почках, сделанной им впервые в стране, он, подняв над головой капсулу с обращением к будущим поколениям, сказал в микрофон: «Чтоб эту ахинею прочесть, нужно будущий корпус развалить... Так зачем её закладывать? – И громко расхохотался пьяным смехом. – Под церкви никаких обращений не закладывали, и они до сих пор стоят...» И, отдавая блестящую трубочку ректору, уронил ее под ноги. Но самое страшное – врач сказал это в присутствии чуть ли не самого главного партначальника в очках...

Хирург согласился лечить местных только при условии, что параллельно станет обучать врачеванию кого-то из местных. С ним не спорили. Ведь до него медпункт пустовал. И с пустяками приходилось ездить в район. Кого-то не успевали довозить...

Пришли на вольную «больничку» две девчонки, только что выпущенные из последнего класса. Одна быстро отказалась, не вынеся обилия крови и постоянной возни с грязными бинтами. А вторая пять лет слушала «лекции» хирурга, помогая ему во всём.

Перед самым концом срока московский доктор попросил начальника лагеря привезти из края какую-нибудь «гербовую» бумажку, но только с шапкой, где теснением отчеканено слово «Диплом». И, перед тем как выйти из-за проволоки полусвободным человеком, он вывел чёрной тушью на гербовом листочке:

«Выдан настоящий Пехоте Терезии Дезидериевне, что она прослушала полные теоретический и прошла практический курсы терапии в объёме Первого Медицинского института им. Сеченова при больнице Учреждения ЯД-4312 в посёлке Усть-Башлык. Может лечить.

Доктор медицинских наук Славский В. Т.*»

И чтобы документ выглядел солиднее, в нижнем белом поле диплома сделал сноску:

«Славский Владислав Теофилович. Диплом ВАК⁵№ 45678 от 23 ноября 1969г.»

Так у безвыездных случился свой доктор.

Но Славского оставили ещё на пять лет на поселении. Статья у него – «плюс пять». Он поселился в доме у Пехот по самой банальной причине – Терезия была на сносях. Расписаться им не было никакой возможности – у доктора в Москве оставалась законная семья.

Роды принимал сам Славский.

И, может, когда-нибудь доктор стал бы главврачом в усть-башлыкской больнице, но через два года после рождения дочери, во время приёма очередного башлычника, прямо в кабинете он стал хрипеть, задыхаясь, и, упав на пол, умер. Приехавший из района патологоанатом сказал, что у коллеги оторвался тромб...

В зону врачей больше не завозили. И Терезия стала главным и единственным лекарем-спасителем для усть-башлычников. На зонной «больничке» был свой фельдшер, но и тот часто бегал спрашивать к Терезии, особенно когда кто-то из «урок» жаловался на рези в животе. Он больше всего опасался аппендицитов, потому что не умел правильно установить диагноз – косит кто из «зеков» под больного или действительно воспаление слепой кишки.

Терезия несколько раз оперировала несчастных...

Краевая власть вдруг облагодетельствовала зону и усть-башлычников. На ближайшей сопке вертолётном установили высокую мачту. «Урки» помогли рыть шурфы под фундамент. За проволокой нашлись даже два специалиста по телекоммуникации. И в Усть-Башлыке загорелись телевизионные экраны.

В 90-м, в ноябре, как раз по первому крепкому снегу, зону вдруг закрыли. Подогнали два состава плацкартных вагонов и увезли вольных «политуркаганов» на материк. За ними подалось всё лагерное начальство, оставив охранников искать пропитание самостоятельно.

Единственная радость от закрытия зоны – поселковый начальник Валентина Куроцапова объявила на митинге в октябре 91-го всем «невыездным», что с этого дня они свободны и могут идти и ехать на все четыре стороны. Правда, шагая домой после митинга, в сердцах крикнула кому-то: «Да хоть к чертям собачьим!» Но известие о полном освобождении никого не обрадовало. За день до счастливой отмены «вечного поселенчества» вышел из строя телепередатчик на сопке. А чинить его было некому...

В Усть-Башлык снова пришли уныние и безделие. На маленьком хлебозаводе мест не было. Больницу пересчитали на медпункт, оставив Терезию Пехоту работать на полставки, как не имеющую официального диплома. Присылали несколько раз докторов. Но эскулапы, как и учителя, сбегали из посёлка, как зайцы от лисы. В магазине шаром покати. А самым главным человеком в Усть-Башлыке вдруг стала шестидесятипятилетняя Софья, бабка Оня, хозяйка трёх коз и козла, снабжавшая всех поселковых детишек молоком, а мужиков – не вонючим самогоном, настоящим на кедровых орехах.

«Бендеровцы» стали искать отхожий промысел. Хватались за любую работу...

И вдруг кто-то предложил ехать на родину.

Стали кумекать, как лучше организовать.

Заезжие торговки, которые «челночили» в Польшу, утверждали, что можно податься хоть завтра, потому что на границе с Украиной никого нет и принимают по советскому паспорту всех... если дать ментам двести долларов. Но долларов в Усть-Башлыке никто не выдавал, и потому давать было нечего.

Решили официально ехать, получив от районной милиции «выписной» корешок...

3

Оставив Терлецкого на платформе, Зануда вышел на площадь. На ней было грязно. Валялись пустые бутылки, ветер гонял куски газет и трепал кусок выцветшего красного сатина, сорванного с угла праздничной трибуны. Подошёл к зданию бывшей комендатуры. Над дверью вместо привычной вывески красовалась новая, нарисованная на большом листе толстой фанеры: ОПОРНЫЙ ПУНКТ МИЛИЦИИ МЕД-ПУНКТ – АПТЕКА.

Капитан вошёл в тёмный коридор. Ударило заскорузлой пылью и плохо проветриваемым подвалом. Постоял перед дверью своего кабинета, оглянулся на решетки «обезьянника», будто проверял – не забыл ли за прутьями арматуры кого, когда уезжал в район. Открыл ключом дверь и, присмотревшись, принялся. Так он поступал всегда после длительных отлучек. В четырёх стенах, выкрашенных в го-

лубоватый цвет, всё было привычным, узнаваемым. Стол с телефоном, кресло с потертыми матерчатыми подушкой и спинкой, сейф в углу. Три фанерных стула для посетителей. Круглая железная печь в углу и раскладная алюминиевая кровать за ней...

Из печного угла тянуло холодом...

Зануда сбросил плащ и, усевшись за стол, набрал номер телефона районного начальника. Но трубка ответила сигналом «занято». Тогда капитан позвонил поселковому начальству, чтобы сообщить, что благополучно прибыл, но и тут номер оказался занятым. Он набрал третий номер.

– Терезочка... это я, – сказал он в трубку.

– Слава Богу, ты наконец приехал! – ответил взволнованно женский голос. – Святые угодники! Когда же всё это кончится?!

– Что случилось? – нервно спросил Зануда.

– Тёмку, почтальона, побили, паразиты!..

– Где он?

– У меня сидит... Приди!..

Капитан закрыл дверь кабинета и поднялся на второй этаж.

В зубопротезном кресле полулежал молодой парнишка. Лицо его укрывали бинты.

– Полюбуйся! – сказала женщина в белом халате. Она осторожно сняла с лица парня кусочки марли.

Левый глаз заплыл. Веко только угадывалось на фоне сине-бурого пятна. Губы вспухли, налившись чёрной водой.

– Это кто тебя так? – кривясь, точно от боли, спросил Зануда.

Парень молчал, отвернув правый глаз от участкового.

– Я спрашиваю: кто тебя побил? – потребовал капитан.

Но парень и вовсе закрыл глаз.

– Будешь молчать?.. Молчи. Но я всё равно дознаюсь. И если это твой папашка – сроку ему не миновать. Даже если напишешь кучу бумаг, что ты его прощаешь, что он погорячился...

– Не папаша, – с трудом ответил парень.

– А кто?

– Господи! – Терезия вымочила в ванночке бинт, выжала его и положила на лицо парня. – Терпи!.. Атаманом будешь!.. Знамо кто! Вальки Куроцаповой сынок! Больше некому у нас...

– Это правда?

Артемий молчал. Морщился, моргая правым глазом. От боли у него начала дергаться щека. Попробовал ухватиться за больное место, поднял руку, но медсестра одернула её.

– Не смей! Заразу какую занесёшь...

Зануда вышел и вернулся с чистым бланком протокола. Уселся в кресло медсестры и взял из стаканчика ручку.

– Фамилия? – спросил капитан.

– А то вы не знаете. Юрчишин...

– Я знаю, а протокол не знает. Зовут как?

– Артемий Сергеевич.

– Где проживаешь?

– Ну вы же знаете...

– Отвечай, когда спрашивают.

– Что ты к парню пристал? – возмутилась медсестра. – Его от боли всего крутит...

– Терезия Деизидериевна, я попрошу не вмешиваться. Делай...те своё дело... – И, нагнав в голос строгости, приказал: – А ты отвечай! – И, чуть заметно усмехнувшись, добавил: – А то и другой глаз сейчас заплывёт.

– В сороковом доме по левой стороне.

– Чем занимаешься?

– Учусь в одиннадцатом классе.

– Как оказался в медпункте?

– Пришёл на почту за письмами, чтобы разнести по домам. Мария Дмитриевна привела сюда.

– Как ты оказался на почте?

– Вы же знаете, что я подрабатываю почтальоном, – ответил Артемий. – Перед школой разношу почту.

– Я знаю всё. А ты отвечай для протокола. Я тебя не дразню, а ты – не собака. Не огрызайся... Где и

с кем подрался?

Артемий замолчал, начал ерзать в кресле.

– Давай по порядку... – предложил участковый. – Что делал вчера? Чтобы – с моих слов записано верно...

– В девять часов утра я был у вас.

– А что ты забыл в моём кабинете?

– Не в кабинете... В вашем доме...

– Тогда – не у вас, а – в бывшем доме участкового Зануды. – Капитан бросил взгляд на медсестру. –

Правильно?

– Правильно, – согласился парень.

– Что ты у меня?... – Зануда запнулся. – Что делал в этом доме?

– Принёс письмо от Зануды Марины Богдановны... Вашей дочки.

– Что ты ребенка все занудишь? – возмутилась Терезия. – Можно подумать, что ты где-то в Москве участковый, а не в нашей грязюке!

– Протокол требует, – ответил капитан. – Что делал дальше?

– Потом пошёл домой кормить отца и мачеху.

– Потом? – нервно спросил Зануда.

– Был на митинге к Девятому мая. Потом встречал «пятьсот-весёлый» поезд, чтобы снять почту из края...

– Снял. Потом?

– На площади ко мне подошли...

– На привокзальной площади ты встретился... С кем?

– Вовка Куроцапов. Ну... То есть – Бурдин... и трое пацанов. Они спорили.

– И попросили тебя быть судьей?

– Да.

– Про чего спорили?

– Кого сразу взяла Красная армия?... Берлин или Прагу?

– А какая разница? – спросила медсестра с искренним удивлением.

– И ты, конечно, объяснил? – недовольно хмыкнул капитан.

– Да.

– И что же ты рассказал?

– Что Берлин был взят тридцатого апреля, – сказал Артемий, морщась после очередной смены примочек. – А в Праге началось восстание против немцев. Восставшие по радио попросили помощи. Красная армия была далеко. А рядом с городом дислоцировалась пехотная дивизия РОА.

– А что это? – спросил Зануда.

– Российская Освободительная армия...

– А я что-то такой армии и не знаю, – сказала Терезия.

– И дальше? – попросил участковый.

– И РОА выбила немцев из Праги.

– А где же были наши танки? – удивлённо переспросила медсестра.

– Танки Первого Украинского фронта марш-бросок совершили из самого Берлина. Когда вошли в Прагу... немцев там уже не было...

– А куда же эти проклятые фашисты подевались?

– Терезия Дезидариевна! – возмутился Зануда. – Давай ты... Вы не будете мешать составлять протокол... И что ты дальше говорил?

– Что из Праги немцев выбили бойцы РОА генерала Власова.

– Власовцы?! – недовольно воскликнула медсестра. – Ты что такое говоришь, поганец? Какие ещё власовцы? А я ему примочки!

– Я же просил не мешать составлять протокол! – крикнул Зануда, уже не сдерживая себя.

– Так как же так можно брехать?! – в гневном порыве крикнула Терезия.

Зануда тяжело вздохнул и сказал:

– Дальше? Ты сказал, что власовцы выбили немцев из города?

– Да.

– И что было дальше?

– В Праге?

– На площади перед станцией Усть-Башлык? – сдерживая себя, чтобы не закричать, сказал капитан.

– Вовка Куроцапов... Ну, Бурдин полез драться... Он кричал, что я – сука...

– И правильно сделал! – возмутилась медсестра. И заявила недовольно капитану: – А ты протокол составляешь! Его в тюрьму в самый раз, а не – примочки!

– Не тебе ругаться! – отрезал Зануда.

– Это почему же? – так же нервно спросила Терезия.

– Твои дед и бабка, как мне известно, попали сюда как бандеровцы... И скажи им спасибо.

– Так то бандеровец, а не власовец! И за что это им спасибо? Что я тут в этом лесу жизнь угробила?

– Что ты родилась...

– Убирайтесь отсюда оба! – возмущённо крикнула Терезия. – Нашли место, где расслаживаться!

– Вставай, агитатор, – сказал капитан и вышел из-за стола. – Пошли ко мне...

В кабинете Зануда усадил парня на стул и спросил, опускаясь в кресло:

– Очень больно?

– Терпимо.

– Теперь будешь умнее. Не всякому на нашей площади твои знания нужны...

Он дописал формальности в протокол и протянул его парню.

– Подпиши... С моих слов записано верно...

Артемий расписался и остался сидеть с ручкой в руке.

– А это правда, что?.. – осторожно спросил участковый.

– Вы про чего?

– Что власовцы освободили?

– Да. Об этом все знают. Давно в книгах уже пишут.

Зануда выпустил воздух из лёгких с шумом и сказал:

– Ты, Тёма, никому больше не говори об этом. Хорошо?.. Здесь это никому не надо...

– Хорошо.

– Беги в школу...

* * *

Зануда, проводив Артемия, откинулся на спинку.

«Господи, Господи! Когда это всё кончится? – подумал он. – Стоит уехать на три дня... Хоть сутками торчи памятником посреди площади!.. Слава Богу, что только мордобой, а не поножовщина...»

Он снял трубку и набрал номер.

– Валентина Захаровна?.. Это Зануда...

– Узнала, – ответил низкий женский голос. – Уже вернулся?

– Ещё еду в поезде... – пошутил участковый, – кажется.

– Что хорошего везёшь от начальства?

– Ничего...

– А у меня совсем другие сведения...

– Интересно?

– Ты что же это народ баламутишь?

– Расшифруй, дорогая Валентина.

– Мы с тобой на службе. И тут не до Валентин. Валентина Захаровна...

– Виноват, товарищ начальник. Забыл, что мы с вами в одно время на горшках сидели... Правда, ты в третьем доме, а я в третьем женском бараке...

– Когда было?.. А народ баламутишь зачем? В паспортном столе зачем корешки требовал? И зачем тебе заграничный паспорт?

– У вас есть такой паспорт?

– Я обязана иметь.

– Это с какого такого права? – раздражённо спросил капитан. – По заслугам отцов и дедов?

– А если срочно нужно с какой делегацией выехать?

– Я и не подумал.

– Людей зачем с места срываешь?

– Вам всё лучше. И так работы нет.

– Будет. И очень скоро.

– Как будет, так и вернёмся... Лучше скажи – где твой сынок?

- Спит дома.
- перезвоните ему. Как проснётся ... попроси зайти ко мне.
- Что-то случилось?
- Пока ничего не случилось. Нужно, чтобы он подписал протокол как свидетель. Лучше, чтобы...
- Хорошо. Он зайдёт... – Трубка нервно заголосила.

Капитан долго смотрел на кругляшек микрофона, из которого вырывался электронный клёкот, всегда напоминавший Зануде нервно-радостный крик коршуна, только что убившего горлицу. Казалось, коршун сидит перед ним... Он со злостью швырнул трубку на аппарат.

Раздражение, которое сейчас крутилось в нём вместе с кровью, нагнало холода... Подошёл к печи, раскрыл топку и бросил в её пасть несколько сосновых лучин. Снял газету и поджог. Пламя, съедая бумагу, стало облизывать белые бока палочек, и те, казалось, радостно купаются в огне.

Пока капитан разговаривал с Куроцаповой, забыл о письме дочери. А сейчас, глядя на разгорающееся пламя, мыслями был в доме, где его ожидал конверт.

«Наверное, написала, когда приедет? – подумал Зануда. – Сессия у них до конца июня... Вот, балда! Не догадался попросить, чтобы выписали Марине заграничный паспорт... Сделали бы по дружбе... А может, и не надо?... Пусть закончит, а тогда уже сама решит – ехать... не ехать...»

Капитан подошёл к окну. За стальной решёткой, на площади двое мужиков разбирали трибуну.

«Во, жизнь! – подумал он. – То – красная, как тряпка, то – серая, как площадь... От праздника к празднику... Поставим трибуны – счастье на три дня... Потом это счастье разбираем... Тьфу!.. Да! Надо попросить Артемия, чтобы письма от Марины приносил прямо мне...»

Дверь в кабинет открылась.

– Можно? – раздался голос Терезии.

– Заходи.

– Как съездил? – Терезия обхватила шею Зануды. – Как я соскучилась, Бодечка!.. Есть будешь?

– Конечно. Сейчас Терлецкий на станции предлагал выпить...

– Ты выпил?

– Говорю – предлагал. Но если с ним сесть – это до вечера...

– Я сейчас принесу... У меня всё готово. Только чайник закипит.

– Давай я к тебе?

– Нет. Я – сюда... Ко мне люди придут...

Терезия принесла чайник, достала из стола тарелки. Ещё раз ушла наверх и вернулась с кастрюлей.

– Картошка с грибами, – сообщила она.

Они уселись за стол и принялись есть.

– Чего хорошего привёз? – спросила Терезия.

– Через две недели человек из паспортного стола приедет. Всё оформит. Подадим заявление на выписку. Поставит штамп в паспорте и выдаст корешок. И можно ехать...

– А как мои дела?

– Да никак, – нехотя ответил Богдан, глядя сосредоточенно в тарелку. – Идёт расследование...

– Да какое расследование?! – возмутилась Терезия. – После пожара никто и не приезжал. Только страховщик голову морочил. Всё пытался выудить у меня: «А может, это вы сами подожгли?» Сволочи! Я сама свой дом с дочерью подожгла. – Женщина отложила вилку и, вынув платок, стала вытирать слёзы.

– Успокойся... Найдут...

– Два года ищут...

– За дверью слышались шаги. Кто-то поднимался на второй этаж.

– Попей чай сам, – сказала Терезия. – Ко мне с зубом...

– Вечером Терлецкие на вареники зовут, – сказал Богдан.

– Сходим, – согласилась женщина, исчезая в коридоре.

* * *

Капитан глянул на часы. Стрелки отсчитали почти половину второго.

«Обещала предупредить... – подумал Зануда о словах Куроцаповой. – Сыночек плевать хотел на мамашу и её слова. Ладно... Не хочешь, Магомед вшивый, приходить, тогда я к тебе. А потом уже за письмом...»

Зануда накинул плащ, надел фуражку, долго решал: брать папку или только один листочек протокола.

Взял папку и вышел на площадь.

Двое продолжали разбирать трибуну. Капитан, минуя, поздоровался. Мужики кивнули.

От станции долетел надрывный сигнал локомотива.

«Пятьсот-весёлый» в Москву пошёл...» – отметил Зануда.

У третьего дома по левой стороне он остановился... Дом бывшего начальника лагеря капитан не любил. Что-то отталкивало его от этих стен. Ему казалось, бревна этого дома – часть давно покинутого им барака в зоне.

Долго возился с запором на калитке. Требовательно постучал в дверь.

– Юрания?! Ты? – откликнулся голос изнутри. – Заходи, Балабан! Открыто!..

В полутёмном коридорчике Зануде в нос ударил острый запах перекисшей капусты. Он натолкнулся на пустое ведро, и железка с грохотом покатила по полу...

На тахте лежал парень лет тридцати. На полу валялись пустые пивные банки.

– Здравствуй, герой, – сказал Зануда.

Парень попробовал подняться, потянулся за брюками, но передумал.

– Вам чего? – спросил парень лениво.

– Отдыхаешь после героических подвигов? – вопросом на вопрос ответил капитан. Уселся к столу, достал бланк протокола, принялся писать:

– Бурдин Владимир Валерьевич?.. Правильно? Что делали вчера, Владимир Валерьевич?

– Отмечал День Победы, – не скрывая небрежной бравады, ответил парень. Он пошарил по полу рукой. Нашёл пивную бутылку и приложил горлышко ко рту.

– Поподробнее. С кем? Сколько выпили?

– Втроем... Юрка Погранец... Димка ...

– Погранец?.. Я такой фамилии у нас в посёлке не знаю. Это кто?

– Кликуха... Погоняло.

– Сдаётся мне – ты к этапу загоя подготовился... Кликуха, погоняло... Ты забыл ещё пару слов... Кича и дубок... – И, не ожидая ответа, пояснил: – Нары и стол... Это тебе сгодится.

– Не забыл, – с неприязнью отмахнулся Бурдин и, дотянувшись до джинсов, лихо натянул на стройные ноги.

Это был высокий, ладный парень с густыми вьющимися волосами, которые светло-кипящим потоком падали на плечи. Он беспрерывно кривил пухлые губы красивого маленького рта, отчего лицо всегда выражало неудовольствие и презрение.

– Говорят, у нас опять зону, типа, откроют, – сказал Бурдин уверенно, натягивая на голое тело зелёную куртку, на спине которой была вышита гладью голова белоглазого орлана. – Ты знаешь?

– Мамашке своей будешь тыкать! – недовольно ответил капитан. – Или кому другому в кедровом стланце...

– Уже, – рассмеялся Бурдин смехом превосходства. Уселся на постель. – Милиция, когда дознается... получит удовольствие.

– Пока откроют у нас, – не следя за словами парня, сказал Зануда, – ты в другой зоне будешь парашу чистить.

– А чё такое? Чё вы на меня бочку катите?

– Фамилии дружков знаешь? – спросил капитан, не отрывая взгляда от листочка протокола.

– Балабанов. И Димка Бодягин...

– В котором часу пили? И где?

– У Жанки в гараже взяли бутылку водки.

– В гараже – это где?

– А то вы не знаете, что такое у нас гараж?!

– Отвечай на вопрос! – нервно прикрикнул капитан.

– В палатке у Жанки взяли бутылку. Пошли на станцию. Там культурно выпили в зале на скамейке возле кассы... Пришёл «пятьсот-весёлый»... На нём приехал Кирка Кузин. У него была бутылка.

– Какого объёма?

– Ноль семь.

– Так и запишем... После Жанкиной пол-литры выпили ещё ноль семь на четверых... Дальше?

– Побазарили.

– Говори по-людски! – крикнул Зануда. – О чём говорили?

– Ну... Перетёрли... Кирялка Кузин сказал, что Сталин дал команду взять Берлин к празднику... Первого мая. А Бодягин сказал, что сначала взяли Прагу, а потом уже Берлин... потому что Прага ближе к Москве...

– А, по-твоему, как было на самом деле?

– Я не знаю. Мне без разницы.

– Почему?

– Потому что было давно и меня это не интересует.

– Ты сколько классов окончил?

– Восемь.

– Где работаешь?

– Раньше в охране лагеря бойцом. Теперь... безработный.

– Почему?

– Ждём-с. – Бурдин раскинул руки в стороны картинно, подражая герою рекламного ролика. – До первой звезды-с⁶.

– Водку рекламой заедаешь? Награды ждёшь, Суворов?

– При чём здесь реклама? – обиженно ответил Бурдин. – Пацаны говорили, что скоро нашу зону из политической в нормальную переделают. Вон, братвы сколько развелось. Некуда девать. В телевизор уже не влазят. И сказали, что у нас для пожизненного всё организуют... Всем нашим работы до самой пенсии хватит... Чё баракам пропадать?

– Ну и дальше как отдыхали? – спросил Зануда, не обращая внимания на слова Бурдина.

– Вышли на площадь... Бодяга предложил ещё раз сходить к Жанке в гараж... Кирялка Кузин сказал, что к нам в новую зону будут привозить тех, которые приговорены к исполнению...

– И ты пойдёшь работать исполнителем? – вырвалось у капитана.

– А чем плохо? Приравняется – что сварщик. На пять лет раньше на пенсию...

– И дальше... что было на площади? – нервно перебил капитан. – Сходили в гараж. Потом?

– Потом? – спросил себя нехотя Бурдин и замолчал.

– Быстрее ворочай языком! С кем дрались?

– Увидели Тёмку почтальона, – лениво сказал парень.

– Быстрее. У меня мало времени.

– Балабан позвал его и спросил про Прагу.

– А что же Артемий?... Полез вам морды бить?

– Набрехал, сучка!

– Повтори брехню.

– Он сказал, что Прагу от немцев освободили власовцы... А наши танки приехали уже в пустой город... без единого выстрела... Набрехал на нашу армию! И получил, сука ...

– Ты так любишь армию? – спросил Зануда. – Почему не пошёл служить?

– Не взяли. Я хотел...

– Бежал в военкомат, аж спотыкался?! – заметил капитан. – А если это правда?

– Чё – правда?

– То, что говорил почтальон?

– Не бывает, чтобы предатели против фашистов, – губы Бурдина с презрением глянули на участкового.

– А тебе больше как нравится?

– Такого не может быть!

– А ты откуда такой уверенный, что не может быть?

– По ящику бы сказали...

– По телевизору говорили про это как раз, когда ты с друзьями водку жрал. – Капитан глянул на Бурдина недобро.

– Не могли такого говорить... потому что брехня! – заявил уверенно парень.

– А кто тебе дал право руки распускать? Даже если брехня...

– Так он же родину паскудит! – выкрикнул Бурдин.

– Какую родину?

– Советский Союз!

– А ты в какой стране живёшь, придурок?

– В... – запнулся парень. – В России.

- Ты живёшь в одной стране, а кулаки пускаешь в ход за честь государства, почившего в бозе?
- В какой бозе?
- Ни в какой, а в каком... В гробу твой Советский Союз. Нету такой страны! Ты знаешь об этом?
- Пацаны говорили, что Союз скоро, типа, вернётся... раз зону открывать будут. А брехать людям не надо! Западло! Я за это пасть порву кому угодно!
- А тебе в голову не приходило, что почтальон знает больше тебя? Если мне не изменяет память, ты два года сидел в третьем классе и шестом... Я правильно помню?
- Какая разница?
- А Артемий, вон, на золотую медаль учится... – Зануда подошёл к телефону и набрал номер. – Аркадий Семёнович?.. Это Зануда... Сейчас к вам придёт один молодой человек... Вы его знаете хорошо. Владимир Валерьевич Бурдин. Куроцаповский сынок... Вы его проводите в класс, где учится Артемий Юрчишин... Нет. Не во время перемены, а во время урока... Повторяю... Во время урока!.. Причина?.. Простая... Гражданин Куроцапов... Бурдин изъявил желание извиниться перед Юрчишиным при всём классе. А вы проконтролируйте... пожалуйста...
- Никуда я не пойду! – крикнул парень и пнул пустую банку из-под пива. Та с мышиным визгом отлетела к стене.
- А ты, паскуда, – капитан заговорил шепотом, держа в руке телефонную трубку, как какое-то оружие, – сейчас пойдёшь в школу. Вместе с директором заявившись в одиннадцатый класс и извинишься перед почтальоном... Чтоб весь класс слышал. – Нервно бросил ее на рычаг аппарата. И приказал: – Скажешь громко, что ты был не прав и что никогда больше...
- Не пойду! – огрызнулся Бурдин.
- Подпиши протокол. – Зануда пододвинул листок на край стола. – И допиши... С моих слов записано верно... И распишись...
- Бурдин нехотя подписал бумажку.
- А вот теперь... – капитан переломил протокол пополам, сунул в папку, – по этой бумаге я тебе вляпаю пять лет. И запомни, придурок... Если твоя мамаша в поселке у нас главный начальник, то, как только ты сядешь... А я тебе вспомню все твои проделки, какие знаю и что за тобой плетутся...
- Плетутся... – с презрением перебил Бурдин. – Не люблю понты!
- ...то дорогую Валентину Захаровну тут же попросят на выход... И передачи возить для сыночка не за что будет. Понятно? И тогда ты уже будешь кормить безработную мамашу из зоны. Сколько брёвен погрузишь или тачек перевезёшь, на столько мамаша и пожрёт... и попьёт. А зона твоя будет не на нашем посёлке. Я постараюсь, чтобы тебя на самую Колыму запёрли... В какое-нибудь Ягодное или Сусуман...
- Ага! Спужался я очень... Мы ещё поглядим... Доказать ещё надо!
- А есть что доказывать? – зло спросил капитан.
- Бурдин промолчал.
- Так что выбирай... За час чтобы сходил в школу... Я проверю...

* * *

- Артемий вошёл в школу и сразу натолкнулся на директора.
- Тот стоял у стены, подпирая доску с расписанием уроков. Увидев парня, директор бросился к нему с подобострастным лицом, словно к давно ожидаемому начальнику.
- Господи, Тёма?! Что это с тобой?
 - Ничего, Аркадий Семёнович. Подрались...
 - Ох, как это не вовремя... Пойдём ко мне.
- Они поднялись на второй этаж и вошли в кабинет.
- Присаживайся... – суетно попросил директор, прижимая плечи парня к полу. – Дело вот какое... Ох, как не вовремя, как не вовремя. – Он, кудахтая, уселся за стол, пошарил на его полированном поле и, выдернув из бумажной свалки листочек, приложил его к глазам. – По моему представлению... мы тебя представляем к золотой медали. – Глянул на Атремия с вопросом. – Ты понимаешь?
- Артемий кивнул, соглашаясь.
- Нет, ты не понимаешь. Если у тебя будет золотой аттестат, ты сможешь поступить в любой институт.
 - Я и так поступаю, – уверенно ответил парень.
 - Я тоже уверен, что ты поступишь. Но с золотой медалью удобней и проще. А самое главное – ты первый золотой медалист в нашей школе. Первый и единственный.

- И что я должен делать?
- В районе не верят, что ты получал пятёрки с самого первого класса сам... Взяли все классные журналы за десять лет. На проверку. И самое главное – хотят, чтобы ты сдавал выпускные экзамены не в нашей школе, а в районе. Под их наблюдением.
- Я не хочу. Мне не надо.
- Почему, голова твоя садовая? Ты не понимаешь своего счастья...
- А отца с мачехой на кого я оставляю?
- А старший брат? Он в конце мая должен вернуться из армии, если я не ошибаюсь. А пока ты будешь в районе, мы что-нибудь придумаем. Я буду ходить... Кого-то из учителей назначим. Две недели всего... За это время ничего с твоими родителями не случится...
- Не случится? – недоверчиво спросил Артемий. – А если вконец сопьются? – И добавил осторожно: – А жить где... в районе?
- У меня в районе брат двоюродный живёт. Он тоже учитель в школе... Дом у него просторный. Я постараюсь, чтобы он тебя приютил. И поможет, если что. Он физкультуру преподаёт... и физику... И денег тебе дадим.
- А почта? Кто будет почту разносить?
- Далась тебе эта несчастная почта! – возмутился директор. Длинные волосы, свисавшие с боковин лысой головы на уши, тряслись в такт словам, делая директора похожим на спаниеля. – Тут уже газет никто пять лет не выписывает и не читает. А письмо если кто получит, так одно в месяц на весь Усть-Башлык... Ну в конце концов я сам разнесу... твою почту.
- Хорошо. Только...
- Никаких только! – радостно заявил директор и, забросив пальцами волосы за уши, подскочил со стула. – Я сам тебя отвезу в район...
- Но мне ещё раз нужно съездить в край.
- Зачем?
- Я в библиотеке университета заказал ежегодник.
- Какой ещё ежегодник?
- Из Москвы «Сборник Института истории Академии наук России». Обещали прислать в апреле. Я сметаюсь. Перед первым экзаменом четыре дня свободных... Я туда... Прочту... И вернусь... Можно?
- Можно, можно... Иди в класс...

* * *

От Куроцаповых Зануда пошёл вдоль улицы в сторону зоны, в тот конец, где стоял сруб, когда-то поставленный его отцом. За последние пять лет он посещал собственный дом, только когда нужно было вытребовать у жены какой-нибудь документ или зелёная тоска тянула свидеться с дочерью.

Сейчас туда его тянуло письмо.

С дальних сопок дул холодный, неприятный ветер, смешанный с мелкими дождевыми каплями, и нагонял холод, который заставлял всё тело ёжиться. Капитан поднял воротник плаща и пожалел, что взял с собой папку. Хотелось опустить руки в карманы, чтобы согреть их и согреться самому.

Капитан вошёл в сени. Привычно нащупал в темноте ручку двери, что вела в комнату. Она отдалась в ладонь ледяным холодом. Осторожно потянул её на себя. Комнату заполнял полумрак. Сквозь плотные шторы с большим трудом из окон пробивался дневной свет. В стоячем прохладном воздухе пахло горелым воском. Из-за соседней двери, что вела во вторую комнату, долетало жалобное женское пение.

Богдан осторожно отворил дверь. За ней тоже было темно. Только из дальнего угла падал жёлтый мягкий свет. Там, в огне трёх свечей и лампы красного стекла под киотом с тремя иконами, на коленях на полу стояли две женщины в чёрном. На головах у них были чёрные колпаки. Они, вознося руки к иконам, жалобно пели и били поклоны. Казалось, это нищие выпрашивают на паперти милостыню.

Зануда громко постучал в дверь. Одна из поющих повернула в его сторону лицо. Оно было худым, измождённым. Бесцветные глаза, схваченные серыми неживыми кругами, огрызнулись злом, требуя, чтобы он ушёл.

– Письмо где? – спросил Богдан, выдерживая недовольный взгляд женщины.

Та отвернулась и снова принялась петь, вознеся руки к иконам.

Богдан затворил плотно дверь в молельню, включил свет в большой комнате. На столе лежал нераспечатанный конверт с ярким черным штемпелем, прибавившим намертво марку к белому полотну. Капитан

повертел его перед глазами, улыбнулся, узнавая на адресе почерк дочери. Сунул его во внутренний карман кителя, погасил лампу и вышел на улицу.

Майский холодный день вдруг показался Зануде тёплым и приветливым. От письма шел греющий огонь. Хотелось достать и распечатать. Но мелкие капли, попадая на лицо, стекали по щекам и, казалось, дальше падали на конверт и расплывались синими потеками.

Возвращаясь, Зануда постоял возле пепелища дома Пехот. Окинул взглядом печную трубу. Она сиrotливо торчала над чёрным двором как давно засохшее дерево. Налетевший порыв ветра принёс чуть уловимый запах влажной гори.

«Странно, – подумал Зануда, шагая по улице. – Два года уже... А пахнет, как вчера погасили».

Хлопнула соседская калитка. На улицу вышел Бурдин.

– В школу? – спросил Зануда.

– И туда тоже, – ответил парень, обдав участкового надменной гримасой презрительных губ.

– Только не забудь, зачем идёшь, – предупредил участковый, понимая, что Бурдин может не пойти, а протокол о драке ляжет в сейф, как и другие, подобные. И добавил: – Ты, паря, учти, что это у тебя уже пятый протокол. И я дам теперь ход всем.

– Да хоть двадцать, – самоуверенно ответил Бурдин и пошёл в сторону школы.

Проводив Бурдина взглядом, капитан зашёл в здание милиции, открыл кабинет и, не снимая плаща и фуражку, распечатал письмо.

«Мама, папа! У меня всё хорошо. Бегаю на лекции. Очень тяжело с латынью. Но самое неприятное – морг. Не могу пересилить себя. Решила – буду выбирать стоматологию. В Иркутске весело, но не интересно. Жратвы полно, а люди, как и у нас в Башлыке, все кажутся одинаковыми. Ходят в чёрном и не улыбаются. Скоро сессия. Собралась домой к вам сразу после последнего экзамена, но предложили поехать в Казань. Там открытые лекции для полуграмотных, недочитавших и недовидевших, как я. Я согласилась пока. Но это не окончательно. Ведь я подрабатываю ночной медсестрой в больнице... До свидания. Еще напишу. Марина».

Капли с козырька фуражки оставляли слезливые потоки на бумаге.

* * *

Терезия долго собиралась. Медово-липкие формы ее фигуры, – тонкая талия и широкие бедра, – без привычного белого халата, прикрытые тонкой шелковой рубашкой, были точной иллюстрацией к русской правдивости о «ягодке опять». Она глядела в зеркало, навивая на щипцы тёмно-русые волосы, чуть продёрнутые случайной сединой. Богдан сидел в зубопротезном кресле и, нервно постукивая ножкой скальпеля по стеклу столика, любовался лёгкостью и изяществом движений рук, венком охватывавших женскую голову.

– Перестань тюкать, – попросила Терезия, всматриваясь внимательно в отражение своего лица в зеркале. – Как тот дятел. Лучше помоги мне! А то до завтра не успеем.

– Что делать? – Капитан поднялся. Подошёл и обнял Терезию за талию, окунул нос в ее волосы и, пошарив из стороны в сторону, поцеловал в шею.

– У... меня... щипцы почти холодные, – сказала женщина и перестала завиваться. – Плохо закручивают. Перестань... Просила – замени розетку... Щекотно... Из неё искры выскакивают. Я боюсь...

Зануда, не отнимая левую руку, правой вдавил вилку в розетке.

– Так лучше?... Пока придём – ни одного вареника не останется.

– Вернёмся – сами себе праздник устроим... – уверенно ответила Терезия.

На улице шёл мелкий дождь. Дощатый тротуар чуть блестел в последних лучах исчезнувшего солнца. Терезия схватилась за локоть Богдана, чтобы не упасть на скользких досках.

– Тут идти пятьдесят метров, а ты каблуки надела. Вышки лагерные.

– А куда их тут одевать? Раз в год в гости ходишь...

Во дворе у Терлецких их встретила чёрная лайка. Она звонко залаяла, подкатила к ногам, а потом, мотая бубликом хвоста, горделиво пошла впереди, подводя гостей к крыльцу.

Уже в сенях аромат печёных пирогов перебивал запах кислой капусты. Из-за дверей доносился густой бас.

– Рюмка доказывает, что дважды два – пять, – заметил Зануда и взялся за ручку двери.

За длинным столом сидел Иван Павлович. На его коленях крутилась девочка трёх лет. Напротив него широкоплечий, большеголовый, с седым ёжиком густых волос – Роман Машталер, или по-уличному Рюмка. По правую руку от Рюмки теснилась его жена Катерина, походившая на расплывшееся тесто, утрамбованное в коричневое шерстяное платье. Здесь же два сына Терлецкого с жёнами.

– Ну наконец! – радостно воскликнул Машталер. – Устали ждать. Штрафную!

– Не положено, Роман! – возразил Иван Павлович. – Мы ещё не пили по первой. – Он передал внучку снохе, встал и выскочил в кухню. Вернулся с двумя стульями. – Вот теперь и выпить можна.

– За чё пьем? – Машталер наполнил рюмки. – За Победу?!

– Давай за Победу, – подхватила тост жена Ивана Павловича, вынося из кухни огромный глиняный горшок с варениками. – Лосятина... и чуток свинины...

– Это той самый лось, чё мы приволокли по зиме? – спросил Рюмка у хозяина.

– Только с маслом и луком, – засмеялся Терлецкий.

После третьей рюмки Иван Павлович сказал:

– Ну рассказывай, Богдан, народу, как съездил?

– Я же говорил... Приедет человек...

– Да ты не про то спрашивай, Иван! – перебила Евдокия мужа. – Привёз бумажку из суда?

– Привёз, – ответил Зануда.

– Так, может, сейчас и смотрины невесте сделаем? – сказала хозяйка. – Гляди, кака красавица. И всё при ей. Жалко, Терезка, что ты не поехала с Бодькой в район. Там бы сразу и заявление подали...

– И сразу бы фамилию назад вернули, – сказал Машталер.

– Кому? – спросил Зануда.

– Тебе, – заявил Рюмка. – Как твой дед писался?

– Я себя всегда Занудой помню, – сказал Богдан.

– А неправильно. Это мой дед рассказывал... Твоему деду пьяный Куроцапов в анкету такую гадость вляпал... что твой дед требовал...

– Чего требовал? – спросила невестка Терлецкого.

– Чтобы всё по закону... – с мудрствующим видом сказал Рюмка. – У деда Никодима даже кликуха была в лагере... Инструкция... – И с удивлением спросил у Богдана: – Не уж не помнишь?

– Деда Никодима помню, – ответил Богдан. – На руках у него сидел. И как хоронили... И всегда был Занудой...

– А мой дед рассказывал... – Машталер поднял над столом вилку. – Куроцапля встанет перед строем и начинает чего-то причитать... А Инструкция... Ну, твой дед ему: «А по инструкции не так!» За то и записал Занудой... К Инструкции все ходили советоваться, потому что адвокат... Все письма прокурорам и в суды только он писал... Вот ты теперь один Зануда на весь мир, как перст.

Машталер нанизал на вилку два вареника. Мокнул их в сметану.

– А настоящая фамилия у тебя знаешь какая? – с чувством превосходства спросил он, глядя на Богдана. – Занадта... – Выпил и заел варениками. Не переставая жевать, продолжил: – У Терезки дед и бабка учителями были. А у меня врачом... Один на всю округу... – И, точно вспомнив, сказал: – Вона, бабка Онька ходила к Вальке Куроцапле, чтоб фамилию свою назад вернуть...

– Так она же Пронькина, – сказала Терезия. – Куда менять?

– Это она по мужику. Он тутошний. Он нас охранял. А сама она?... – Машталер задумался. – Ну, как у нашего артиста из кина? Который машины воровал, а потом продавал попам...

– Смоктуновский, что ль? – сказала сноха Таиска.

– Во-во!..

– Да не про то мы тут собрались! – возмутился Иван Павлович. – Занадта, Смоктуновска... Про папорта нехай рассказывает. А всякий там загс подождёт. Дурное дело – не хитрое. Говори Богдан Орестович.

– Как поставят штамп в паспорт, можно и контейнеры заказывать, – сказал Зануда.

– У тебя много барахла набирается? – спросил Иван Павлович у Машталера. – Я тут покумекал. Выходит... нам двух пятитонников будет мало. Вона, коляску тоже надо запаковать...

– Так я Кристинку на руках повезу?! – возмутилась сноха. – Какие все хитренькие...

– А мы с Катериной решили не ехать, – сказал Рюмка.

– Ага, – подтвердила Катерина, запихивая вареник в рот.

Наступило неловкое молчание. Было слышно, как Катерина жуёт.

В коляске заплакал ребёнок. Одна из невесток вскочила из-за стола.

– Первым кашу заварил... – возмутился Терлецкий, – а теперь – не хочу!

– А чего ехать? – спросил Рюмка. – Вона, Бодька самый хитрый оказался. Первым из вохры смылся и в участковые пошёл.

– Меня позвали, – объяснил Зануда.

– Так тебе и поверили, – сказала Катерина. – А почему не другого?

– А от я скажу! – Роман отложил вилку и отодвинул рюмку. – Чего ехать? Чем тут плохо?

– А чем хорошо?! – взорвался Иван Павлович – Вон мои сидят на моей шее. А твои чем занимаются?

– Скоро всем работа будет, – уверенно сказал Машталер.

– Что за работа такая? – спросил Зануда.

– Зону у нас открывают, – довольно сообщил Роман. – И не для всяких там болтунов, которые на трибунах в Москве гогочут, а для братвы...

– Для нормальных пацанов... – рассмеялся младший Терлецкий и выставил пальцы веером.

– Откуда такие известия? – спросил Богдан.

– Знаю. Всех возьмут в охрану. Попомните мои слова... Кто новый сюда сунется? Крыши над головой нету... На постой ты возьмешь? Я – нет! А на улице жить – только месяц в июне и две недели в августе... А остальное время гнус, дождь и мороз... Сорока на хвосте принесла – через месяц приедут ремонтировать бараки... И самое главное – не просто зона будет, а даже для тех, кого на пожизненно... Вот это жизнь будет! Бабки передать, колёса⁷ перекатить... Я уже не говорю про чифирные кубики⁸. Всё через нас...

– Это где же ты столько наберёшь людей? – спросила Терезия. – Зона – полтайги.

– Я посчитал... По московскому телевизору каждый день показывают бандюганов... По двадцать штук в день. И наших из края не меньше... А те, кого не показали? Ну, там рожей не вышли для телевизора... Вот учитай! Пятьдесят в день сажают. Да на тридцать один...

– А зачем на тридцать один? – спросила Катерина.

– В месяце сколько дней? – раздражённо ответил Рюмка. – Вот я умножил... Забыл, сколько будет?

– Тыща пятьсот пятьдесят, – подсказала сноха Терлецкого.

– Видал, Иван, как девка быстро кумекает? На зону в бухгалтерию пойдёт...

– Разбежалась я... – ответила сноха.

– Вот за это и выпить можно, – сказал Рюмка. Он налил себе, жене. Они выпили. – Настоящее дело. Если бы еще пожизненная была... Совсем нормально... Лицом к стене! По какой статье? Сколько дали? Сколько отарабанил?.. А тебе без запиночи, как песню... И человеком себя чувствуешь. Хозяином... Я привык в зону ходить. Она мне снится. И как снится... Я иду. Подхожу к воротам. Они сами открываются. Захожу. Закрываются за спиной. А другие перед тобой открываются, как ждали какого проверяющего... А на плацу все стоят. И смотрят на меня... – Машталер снова налил себе водки и выпил. – Где на тебя так посмотрят ещё?

– И тут вы, дядя Рома, проснулись, – сказал младший сын Терлецкого с серьезным видом, изображая сожаление и через силу сдерживая улыбку.

– Я проснулся как раз вовремя, – серьёзно ответил Рюмка. – Во сне уже решил остаться... От меня послушайте... Мы приедем... И чё? Кто мы? Бывшие охранники... Хуже ментов. А делать чего мы умеем?.. Ничего. И выходит, нам надо ехать в такое место, где есть зона. И по всей Украине будем бегать, эту самую зону искать, просить... «Возьмите нас, добрые люди...» А не возьмут. Нету там таких зон. Они все здесь и только тут... Вот и выходит... на Украине надо сначала наловить бандюков, загнать их на кичу, а уже потом проситься на работу... А тут всё уже готово. Семьдесят лет с гаком колючки и бараки ставили, ставили, ставили. И будут ставить!.. Не здесь, у нас, так в какую другую зону поехать можно. Теперь мы все свободные...

– Ты совсем сдурел, Рюмка! – выкрикнул Терлецкий, напугав ребёнка в коляске. Младенец заплакал.

– А я тут родился, – сказал Машталер. – И Катька тут родилась. И Жанка в свой гараж всё привозит. Не то, что раньше, за колбасой в край мотаться, а то и самую Москву... Сейчас ешь, пей...

Сыновья Терлецкого вышли из-за стола. Сноха увезла коляску в соседнюю комнату. Из-за закрытой двери раздался голос телевизора.

Есть не стали. И не пили. Иван Павлович неловко ковырялся в пустой тарелке, не поднимая глаз. Евдокия ушла в кухню...

* * *

– Я так волновалась, – сказала Терезия.

Она уселась на постели и включила настольную лампу. Свет выхватил маленькую комнату, где между окном и стенкой с большим трудом вмещалась тахта.

– С чего? – спросил Богдан.

– А твоя могла в последний момент не согласиться на развод. Написала бы письмо в суд, что не хочет...

– Слава Богу, всё случилось. Поедем в район, подадим заявление.

– Не хочу...

– Почему? – спросил Богдан.

– Боюсь. Я как на иголках живу. Утром просыпаюсь и жду...

– Чего?

– Затарабанят в дверь среди ночи, заберут паспорт. И опять, как собака на цепи... А вдруг, когда через границу будем ехать, спросят... «Вы только-только записались. Почему? С какой целью? Может, специально, чтобы советскую власть обмануть?» Я этих вопросов за жизнь наслушалась. Устала от них...

– Да нет давно этой власти, – успокоил Богдан.

– Как приедем... – Терезия взяла с тумбочки стакан с водой, отпила глоток. – ...сразу на базар побегу. Накуплю вишен и наделаю вареников. Пельмени с лосятиной надоели... И – фамилию поменяешь. А то у меня получается какая-то глупость Зануда-Пехота... Или Пехота-Зануда... Тебе как больше нравится?

– А ты вареники с вишнями когда-нибудь делала? – спросил Богдан.

– Даже не ела. Мама рассказывала. Это очень вкусно.

– А она кем была? – спросил Богдан.

– Училась на землемера... И дом у них был дедовский... и сад. В апреле зацветал. Пять яблонь, двенадцать вишен... И абрикосы... Мама говорила, что самые вкусные пирожки с абрикосами... А эта за-
раза, Рюмка, весь вечер испортил. Даже пирожков не попробовали... – Она прикрыла грудь простынёй, кутаясь от прохлады. – И от калитки к дому был проход, как шатёр, виноградом увитый. Лидия... К нам в магазин один раз вино такое привозили. Я пила... А твоя мама чего тебе рассказывала?

– Я не помню, – ответил Богдан.

– Совсем ничего-ничего?

– Говорила... чтоб я не брехал и не воровал.

– И всё?

– Ещё говорила... «Потише про пенёны, и подальше от власти».

– Пенёны – это что?

– Деньги, по-нашему.

– А ты не послушался. В милицию зачем пошёл?

– Куда же у нас идти? – спросил Богдан. – Позвали. Тут не выбирают.

– Давай ты больше не пойдёшь в милицию, когда приедем? – попросила Терезия.

– Почему?

– Это у нас в тайге на сотню километров ничего не происходит... А там народу много. И всякое может случиться.

– Я не пойду в милицию, а ты не пойдёшь в медпункт.

– Почему? Я всегда хотела стать врачом... Я даже иногда начинаю бояться... Идёт человек. А я вижу... У него болит печень...

– Ты имеешь в виду Машталера? – рассмеялся Богдан. – Он столько самогона за свою жизнь перепил, что у него и печени уже нету.

– Я по-другому вижу. У больного человека глаза по-особенному глядят. Как-то шла на больничку... Навстречу бежит Амур...

– Вспомнила Амура, – сказал Богдан. – Это когда было. Пятнадцать лет назад...

– Вот я про него и говорю... Бежит мне навстречу, хвостом виляет, как веером. А у него какой красивый хвост был, помнишь?

– Помню.

– Гляжу и вижу, что он болен. Что отравили собаку... А на следующий день нашли его во дворе Куроцапова.

– Так до сих пор народ говорит, что Амура Куроцаповы отравили....

– Нет. Его кто-то гнилью накормил. Я это видела... Я и человека вижу.

– А я как? Здоров? – спросил Богдан.

– Нет, – ответила Терезия.

– Почему?

– Очень совесть у тебя хроническая.

– А я подумал – сердце. Совесть – не болезнь... Сегодня – нет, завтра – есть, – рассмеялся Богдан и спросил: – У тебя совесть есть?

– Есть.

– Нету у тебя совести. Я спать хочу, а ты всё болтаешь. Погляди... Половина третьего... А мне в семь часов вставать...

Они замолчали.

– А вообще-то ты прав, – Терезия улеглась на подушку и погасила свет. – Когда нужно – она у меня есть. Когда не нужно – нету. Если бы узнала, кто дом поджёг... Переступила бы через совесть... На родительскую на кладбище не ходила. Завтра схожу. Завтра у меня вторая смена...

4

Богдан поднялся, стараясь не шуметь, принялся чистить зубы и бриться.

– Ты сам позавтракаешь? – сонно спросила из-под одеяла Терезия.

– Возьму с собой чайник, – ответил капитан.

– В холодильнике колбаса и масло... А я полежу.

– Ты собиралась на кладбище...

– Успею.

Зануда оделся. Заглянул в холодильник, прихватил чайник и ушёл на первый этаж.

В кабинете было холодно.

Он воткнул вилку чайника в розетку и принялся разжигать печь. Когда пламя схватило сухие сосновые поленья, поставил у открытой топки маленький стульчик. Налил чай в кружку, сделал бутерброд и уселся у печи.

Холод скоро отступил...

Зануда вытащил из кармана конверт и развернул письмо дочери...

Раздался телефонный звонок.

«Кому не спится в ночь глухую?!» – выругался капитан и, поставив на пол кружку с чаем, подошёл к столу.

– Участковый... капитан Зануда слушает.

– Товарищ капитан? – В трубке раздался голос начальника районной милиции.

– Здравия желаю, товарищ майор!

– Какие дела после праздника?

– Никаких. Девятое мая отметили без особенных происшествий, товарищ майор.

– Если без особенных, значит, какие-то неособенные были?

– Так точно, товарищ майор. Подрались два человека. Причины драки устанавливаю. Допросил двоих участников...

– Есть для тебя задание, капитан.

– Слушаю.

– В половине второго приходит поезд... Ну, наш «пятьсот-весёлый». Только не перепутай... Который в Москву.

– Кого нужно арестовать? А то он у нас стоит минуту.

– Слава Богу, никого арестовывать не надо. Подойдёшь к девятому вагону... бригадирскому... и возьмёшь пакет.

– Так это не ко мне, а на почту.

– Именно тебе. Примешь пакет под расписку и... доложишь.

– Есть доложить, товарищ майор.

Зануда положил трубку, допил чай и позвонил.

– Иван Палыч?... – спросил он. – Здорово с утра. Как после вчерашнего? Успокоился?

– Рюмка, сволочь! – крикнул в трубку Терлецкий. И уже спокойным голосом спросил: – Какие вопросы у органов правопорядка к органам движения?

– У тебя по поводу «пятьсот-весёлого» на Москву какая-нибудь информация имеется?

– А какая должна быть? Приползёт в половине второго, если не опоздает. Почту сдадим и получим. Пассажиров пока нет. Вот только Тёма не пришёл. Вместо него сама главпочта Маша приходила. Вот и

вся информация. Что-то случилось?

- Я не про то. А по связи что-нибудь получал?
- Нет.
- Ну и хорошо. Я к половине второго подойду...

Капитан вернулся к окну.

На площади, где вчера ещё была трибуна, стояла пожилая женщина. У её ног на асфальте – три трёхлитровых банки с молоком. Молодая женщина, ковыряясь в кошельке, расплачивалась за купленное молоко.

– Господи, что ж с вами делать! – выругался капитан. – Как всё надоело...

Надел фуражку и вышел на площадь.

Завидев участкового, молодая женщина быстро ушла, унося банку с молоком. Старуха принялась укладывать банки в сумку, намереваясь уйти.

– Баба Оня, – сказал Зануда, подходя. – Я же тебе сто раз говорил... Нельзя торговать на площади. Что мне с тобой делать? В обезьянник посадить? Ну, сходи ты к Куроцаповой, запишись как частный предприниматель... И торгуй.

– К Вальке? Лучше я с голоду сдохну, чем пойду к этой змеюке! – выкрикнула старуха, выкатив глаза в злой ненависти. – Я на её папашку нагляделась ещё за проволокой!

– Ты не к ней идёшь, а к власти. Закон требует.

– Я думала, ты, Бодя, ещё не приехал, – уже спокойно объяснила Оня. Подняла сумку с банками и пошла с площади.

* * *

На платформе Терлецкий мёл асфальт на перроне. У стены станции лежал большой парусиновый мешок с привязанной к голове деревянной табличкой под сургучной печатью. Увидев Зануду, дежурный крикнул:

- Ты кого встречаешь, Орестович?
- Пакет получить надо в девятом вагоне.

Из тайги долетел призывный сигнал, и следом за ним из её чёрного безразмерного тела выполз высокий зелёный локомотив. Он, как гора, не спеша прокатился мимо под скрежет тормозов.

– Вот опять я должен получать почту, – недовольно пожаловался Терлецкий капитану, ставя метлу к стене.

Он подхватил почтовый мешок, и они пошли к девятому вагону.

Железная дверь открывается. С площадки кто-то бросил на землю мешок. Следом высунулась мужская голова в форменной фуражке. Она деловито посмотрела в начало состава, потом в конец, и спросила, глянув в маленькую бумажку:

- Кто тут Зануда?
- Я, – ответил капитан.
- Давай, Палыч, – протянула голова руку в сторону дежурного и, подхватив почтовый мешок, скрылась в вагоне.
- Ты его знаешь? – спросил участковый у Терleckкого.
- Начальник поезда.

Бригадир вновь появился в дверном проёме с большим белым свертком в руках. Он держал его с боязливой осторожностью, точно внутри хранилось что-то хрупкое, бьющееся. Свёрток был перевязан коричневым скотчем в двух местах.

– Распишись. – Бригадир опустил бумажку и ручку к глазам капитана. – Давай быстрее. Сейчас пойдём...

– О чём я расписываюсь? – спросил Зануда, ставя подпись на строчке, где чья-то рука черкнула жирную галку, и передал бумажку бригадиру.

– А я почём знаю? – торопливо ответил командир поезда. – Приказано передать под расписку.

– Как зовут? – спросил Зануда.

– Меня? – испуганно спросил бригадир. И зачем-то крикнул: – Женя!.. Бери быстрее! – И вложил свёрток в руки милиционера. – Только осторожно.

Поезд тронулся. Дверь торопливо закрылась. Изнутри долетел нервный щелчок замочной щеколды.

Капитан взял пакет, стал ворочать, пытаясь понять, что ему передали. Хотел взять подмышку. Но вдруг изнутри раздался детский плач...

В растерянном недоумении Зануда замер на мгновение. Если бы спрашивал себя: что передаёт рай-

онное начальство, то мог бы смириться с самой глупой нелепицей... Начальству всё что угодно может прийти в голову, а в милицейскую тем более... Но жалобный, беспомощный детский голосок...

Капитан посмотрел на Терлецкого, словно просил помощи. А потом побежал за уходящими вагонами.

– Стой!

Но, сделав пять больших шагов, остановился и крикнул дежурному:

– Палыч! Задержи состав!

– Чего случилось? – уже растерянно спросил Терлецкий.

– Стопорни этого змия!

– Не имею права! Что у тебя?

– Иди сюда! – И умоляюще позвал, словно просил помощи: – Иди...

Детский плач снова вырвался из нутра белопростынного пакета.

Зануда положил пакет на левую руку и осторожно приподнял уголок простыни, приклеенный чьей-то заботливой рукой кусочком коричневого скотча к телу конверта. Там, из кучи каких-то разноцветных лоскутков на него смотрели два больших чёрных глаза и горошина носа. То ли от внезапного пучка дневного света, то ли от человеческого взгляда ребёнок громко закричал, раскрыв пустой розовый рот. Кричал он не обиженно, а требовательно...

– Ты погляди, что... подбросили, гады! – тяжело дыша, сказал капитан и попытался передать свёрток дежурному.

Терлецкий заглянул внутрь.

– Ух ты! И правда, дитё, – почти пропел дежурный. – И без соски!? Вот гады! Соску пожалели! Лицо ещё красное... и живое.

– Типун тебе на язык! – крикнул капитан. – Не хватало, чтоб мне мертвяков из вагона выдавали! – И подумал: «Что я такое несусь? Что с этим дитём делать?»

Ребёнок закричал громче. Капитан обхватил свёрток обеими руками и принялся качать.

– Тихо, тихо... – произнёс он почему-то шёпотом.

– А ить совсем молоденький, – сказал дежурный, снова заглянув в пакет. – Видать, пацан...

– Что значит молоденький? – спросил Зануда.

– И дня нету...

– Как это?

– Погляди... Личико красное... Видно, мамкину сиську ещё не сосал.

– Чё с ним делать? – озадаченно спросил капитан, продолжая укачивать малыша. – Куда с ним сейчас?! Ты забыл?.. Нам ехать через месяц... Отдали, чтоб я похоронил, выходит?

– Ты накаркаешь! – возмутился Терлецкий. – И не думай! – И, помолчав, добавил рассудительно: – А может, так?.. Составляй протокол. Я подпишу. Выведем стервцов на чистую воду... – Снова заглянул в конверт. – А шустрый... Гляди, как ресницами-то дергает...

– Постой... Ты дежурный? – спросил Богдан.

– Ну, я.

– Железная дорога ваша?

– Что ты хочешь этим сказать? – подозрительно спросил Иван Павлович.

– Может, это тебе должны были передать? Под моим наблюдением.

– Куда мне? Своих внуков двое. И старшая сноха на сносях с третьим. Сам говоришь... ехать через месяц. И я сегодня не на своей смене. Подменяю...

– Так, выходит, сменщику твоему домой нести? – сказал Зануда. И, помолчав, добавил: – Так чего с ним делать?

– Отнеси в кабинет. Оставь в камере. Позвони начальству в район.

– Чего им в район звонить?! – раздражённо выкрикнул капитан. – Это из района приказали принять...

Из приоткрытого окна станции вырвался долгий, требовательный звонок телефона.

– Диспетчер! – обеспокоенно объяснил Терлецкий. – Я побежал, Орестович. Дорога требует... – И засеменил, быстро переставляя худые ноги.

* * *

Ребёнок молчал. Зануда нёс пакет, чувствуя некоторую неловкость, как молодая девчонка, понимающая, что одета не по моде. Ему казалось, что из окон станции, поселковой управы, школы на него смотрят десятки глаз, посмеиваясь. Он вспомнил, как когда-то нёс со станции домой новорожденную

Марину, завернутую в зелёное байковое одеяло. Тогда ему хотелось кричать на весь посёлок, чтобы все слышали и видели, что у него родилась дочь. Сейчас в душе была только тревога и злоба на неведомую женщину, родившую и оставившую малютку в поезде. Чужая нутром: этот ребёнок ломает и корёжит все давно выстроенные планы. Когда бегать с паспортами, когда заниматься контейнером?.. Ведь не игрушку же он нёс, которую можно отложить в тёмный угол. Щенка не бросишь, а тут живой человек.

Зануда прошёл по коридору мимо двери милиции: в кабине, точно недовольный, что заперли, разрывался телефон. Капитан выругался шёпотом, испугавшись, что визг телефона побеспокоит малыша. Большими шагами миновал коридор, точно убегал, и, осторожно ступая по ступенькам, поднялся в медпункт.

Терезия сидела за столом. Увидев Богдана со свёртком, остановившегося в дверном проёме, спросила, вздёрнув удивлённо брови:

- Это чего у тебя? Чего принёс?
- Ребёнка, – растерянно ответил Богдан.
- Мамашка у тебя в обезьяннике сидит?
- С проезда сняли.

Малыш вдруг заплакал тихо, словно хотел напомнить о себе.

- Господи! И правда. – Терезия выскочила из-за стола. – Чего стоишь. Мальчик или девочка?
- Не знаю. Я же говорю... Позвонили из райотдела... Прими пакет. Вот принял...

Терезия уложила пакет на стол и взялась отдирать серый скотч.

– Вот, нелюди! Как какую-то игрушку перевязали... А ты не брешешь, что с поезда? А то, может, у кого украл?

Она раскидала конверт. Среди нечистых вафельных полотенец лежало маленькое розоватое тельце с длинными чёрными волосами, росшими на макушке, безбровое, с тоненькой ниточкой губ над большим подбородком, перерезанным пополам заметной вмятиной.

Почувствовав свободу, дитё стало сучить осторожно ножками и пробовало поднять ручки.

- Ну, чего? – спросил Зануда.
- В грязь запихнули, ироды! – выкрикнула Терезия.
- Я не про то? Пацан или девка?
- Парень, не видишь... Принеси чайник. Воду надо. Помыть.
- Лет ему сколько?
- Какой... лет?! – возмутилась Терезия. – Часов. И дня нету. Беги за чайником!.. А потом – на колодец... Пару ведер принеси!

Мальчик заплакал.

– Ну, мой хороший, погоди, – запричитала тихо Терезия, вытаскивая из-под малыша полотенца. – Мы сейчас тебя помоем... Бодечка, ты ещё не ушёл?.. Позвони Таиске Терлецкой... У неё остались соски и баночки для молока. Пусть принесёт. Нет! Я сама позвоню... А ты дров подними. Затопим печь. А то тут холодно...

Зануда спустился в кабинет. Телефон продолжал тарабанить беспрерывно. Капитан протянул руку, чтобы снять трубку, но с нежеланием махнул рукой, схватил чайник и побежал наверх.

– Может, я схожу к Терleckим? – предложил капитан, чувствуя себя лишним в медпункте. – За сосками.

– Не соска ему нужна, а мамкина сиська. Таиска сейчас прилетит. Может, у неё молоко ещё осталось. И соски принесёт. Ты дров давай... И сбегай к Оньке за молоком.

Терезия выскочила в соседнюю комнату. Из-за двери послышался звук переливаемой жидкости. Вернулась с двухлитровой банкой.

- Вот.
- А она чистая? – спросил капитан.
- Чище не бывает. Спирт был. Пока добежишь – всё выветрится...

Зануда сбросил китель, накинул белый халат и пошёл за дровами. На лестнице ему встретилась младшая сноха Терлецкого.

- Дядя Бодя, а правда?.. Папка не брешет?
- Твой папка никогда не брешет...
- Ой! – радостно взвизгнула сноха и побежала вверх по лестнице.

Зануда взял двухлитровую банку и пошёл за молоком.

– Баба Оня! – крикнул он, ступив на крыльцо избы.

Дверь открылась. И удивлённая старуха сказала:

– Здравствуй... Сморгаться не застуй! Видались... Чего тебе? К Куроцапле поведёшь?

– За молоком пришёл...

– Я уже не торгую! Сам сказал, шо неможна.

– Не я. Закон.

– Вот и ходь до Жанки в гараж. Там всё за законом. Нехай тебе твой закон и спродает молоко. А у мене нема.

– Разве у неё в гараже молоко? Вода с алебастром.

– А мне яке дело?! – гневно ответила старуха. – Нехай заместо водки правдиво молоко возе. Або ты себе козю купи. По дворам не буишь шастать... А у мене молоко только для себе. Сама пью!.. От так!

Открылась калитка. Во двор вбежала девочка лет десяти с алюминиевым бидончиком в руке.

– Бабушка Оня! – на бегу крикнула она. – Мама просила сегодня два литра! – И, увидев милиционера, растерялась. – Здрасьте...

– Шо вы се до мене ходите?! Не ходь! Нема у мене молока!

– Дай ребёнку молоко, – попросил Зануда. – В чём дитё виновато? А то отведу к Куроцаповой!

Старуха выхватила из рук девочки бидон и ушла в дом. Вернулась с полным.

– Доглядь, – сказала она капитану. – Я грошей не беру.

– Да не за налогами я к тебе пришёл, – сказал участковый. Он хлопнул девочку по плечу. – Иди, солнышко... Иди. Только, гляди, не разлей.

Девочка побежала к калитке, боязно озираясь на милиционера.

– Послушай, баба Оня... – попросил Зануда. – Ты хоть пол-литру мене налей. Очень надо...

– А ты за мене и до себе в околот отвёдешь бумагу писать? А мене коз кормить пора.

– Ничего подписывать не надо... Меня же заставляют следить, чтобы всё по закону... А мене дитё накормить надо... Грудничка... Понимаешь? Один день как родился...

– Откуда се у тебе, Бодька, грудничок вдруг? В нашей веси даже родить никто не може... Не понятно, наши девки с хлопаками⁹ по кустам ховаютсы, а всё нема ниякого добра.

– Не у мене, – вздохнул капитан. – Только-только с поезда сняли... Ну, вроде, как... безбилетник.

– Шо сы мене глову морочишь?... Я – не варьятка¹⁰! Грудничок! Детско¹¹! Безбилетник! А матка евойна игде? Тераз¹², в твоём околоте седе?

– Так дашь ты мене молоко или нет?! – крикнул Зануда, и протянул старухе банку.

Баба Оня даже присела со страху. Взмахнула руками и убежала в дом. Вернулась с полной двухлитровой банкой, закрытой пластмассовой крышкой.

– Крышку принёсь! – приказала она. – Эти заграничные спшедажки¹³ очень крепкие пенёны¹⁴ за крышки берут. А плацмаздовых не вёзе. Только модные, якие шо тая гайка крутятсы... А детско где, хлоп?

– У мене в милиции. Терезия с ним возитсы.

– Не брешешь? – спросила старуха, всё ещё не решаясь отдать банку.

Из сарая вышел грязно-белый козёл с огромными острыми рогами, длинной жёлтой бородой. Увидел Зануду, недовольно пошёл на него.

– А ну, ходь отсель, трутень рогатый! – крикнула Оня и замахнулась на козла кулаком. – И ты, Бодька, иди. – Отдала молоко. – Он владу¹⁵ ой не любе. Как по телевизору президент, чи наш начальник главный из края выступаютсы... готов весь сарай разнести. Як загодя сговариваютсы. Они – бубонят, а козёл – стены ломитсы.

Зануда взял банку и пошёл со двора.

– Ты когда придёшь, хлопок? – спросила старуха, семена за участковым к калитке.

– Как Терезия скажет. И деньги принесу.

– Нехай лучше Терезка сама приходе.

Зануда уже вышел на улицу, когда старуха его остановила.

– Ты за паспортá ездил узнаватсы? – сказала она. – Когда буде?

– Через две недели человек приедет и штамп на выписку поставит.

– Забыла спросить... Для козы паспорт нужен?

– Тётка Оня, – вздохнул Зануда, – какой паспорт для твоего козла? И какой поезд его повезёт?

- А як на новом месте без молока, хлопок?
- На новом месте и коз новых заведёшь, – сказал капитан и пошёл быстро по улице.

* * *

Малыш лежал, завернутый в белую простыню, рот закрывала красная пуговица соски. Казалось, это из коробки достали большую игрушку.

Терезия стирала полотенца в тазу. Увидев входящего Зануду, выхватила из рук банку с молоком и, приложив к собственным губам палец, приказала не шуметь.

Капитан тихо спустился в кабинет.

Чёрный аппарат продолжал трезвонить.

Богдан уселся в кресло. Ему не хотелось снимать трубку – нутро подсказывало, это звонит начальство. Устроился поудобней и только после этого поднял телефон.

- Участковый, капитан Зануда, слушает...
 - Где тебя черти носят?! – Звонил начальник районной милиции. – Получил пакет?
 - Что с ним делать дальше, товарищ майор?
 - Где малец сейчас?
 - А откуда вы знаете, что не девка? Я ещё не раскрывал. Вон, на столе лежит...
 - Разберись.
 - С чем?
 - Чей? Кто оставил? Найди... и посадим года на три... А мальчика в детприемник... Как по закону...
 - Красиво выходит, товарищ майор... Найдём мамашку, отдадим парня, потом посадим её, а мальчика опять отберем и в детдом. Тогда зачем искать?
 - Не придирайся к словам... Тебе задание – разыскать.
 - Это всю Сибирь шерстить?.. – возразил Зануда. – Денег не хватит.
 - Ты по удостоверению ездишь. Бесплатно...
 - А жрать и спать за бесплатно сегодня не очень-то выходит. И у меня дел по горло. Драка одна, вторая...
 - А вторая когда случилась? – спросил майор.
 - Да через полчаса случится. К концу дня обязательно.
 - Не дури, капитан. Драка – не поножовщина. Подождёт...
 - А торговок гонять? – сказал Зануда, понимая, что отговориться не удастся.
 - Я погляжу, капитан, что тебе коллектива ройотдела не жалко. Мордобой, поножовщина, даже пожары – дело обычное у нас. А тут дитё бросили на вверенной нам территории. Найдём – газеты про нас заговорят, телевизор покажет. Ты не хочешь, чтобы тебя по телевизору показали?
 - Не хочу, – серьёзно ответил Зануда. – Мне слава не нужна. Я выше капитана не полечу, хоть на mine подрывайте.
 - Тебе не надо. А коллектив?
 - Но вы же сами понимаете, товарищ майор, что не возможно разыскать человека в тайге! – недовольно выпалил капитан. – От Урала до Совгавани. Ищи-свищи... Эта мамашка – она кто? Девка, женщина? Откуда она? Может, родила в Хабаровске, а оставила на нашем перегоне?
 - Это приказ, товарищ капитан. – Районный начальник положил трубку.
- Зануда бросил трубку на аппарат и сплюнул в сердцах, ненавидя себя за беспомощность и неспособность доказать начальству глупость всей затеи.
- Телефон зазвонил вновь.
- Чего тебе ещё? – крикнул Богдан, хватая трубку. – Зануда слушает!
 - Дитё взял? – спросил женский голос.
 - Какое дитё, Валентина? – раздражённо спросил капитан.
 - Какое в поезде родилось.
 - Никакого дитя мне никто не давал! Позвони Терлецкому. Поезда – по его части. А у меня поджоги и мордобои с кражами!
 - Не валяй дурака, Богдан, – сказала Куроцапова. – Где ребёнок?
 - Я тебе сейчас его в кабинет принесу.
 - Только посмей!
- Аппарат снова закудахтал отбоем.

– Вот суки! – выругался Зануда. – Вам надо по телевизору? Сами ищите! Нашли мальчика на побегушках. Коллектив района! Два десятка алкоголиков... И эта змеюка? Только посмей! Тогда зачем звонишь, падла?

В дверь кто-то постучал.

– Войдите! – нервно крикнул Зануда.

Дверь отворилась, и вошёл Артемий. Лицо его было синим, но левый глаз уже смотрел на белый свет.

– Заходи, Тёма. С чем пожаловал?

– Вы просили письма вам приносить.

– Откуда?

– Из Москвы.

– Интересно. Давай. – Капитан протянул руку и взял письмо. – Приходил Куроцапов? – спросил он, разглядывая обратный адрес на конверте.

– Приходил.

– Извинился?

Артемий молчал.

– Что случилось? – строго спросил Зануда.

– Извинился. Когда я сегодня в школу шёл... Специально ждал возле почты... Пригрозил... «Убью...»

– Это хорошо.

Капитан взял бланк протокола, быстро заполнил его и подал подписать почтальону.

– Я не буду, дядя Богдан, – отказался Артемий. – Вроде как донос...

– С этим не шутят, парень, – объяснил капитан. – Сегодня сказал, а завтра – камнем по голове... И ничего не докажешь. Подписывай.

Когда Юрчишин ушёл, Зануда прочёл письмо:

«Дорогой наш гражданин Богдан Орестович!

Давно собирался тебе написать. Но видишь, какие дела кругом? Вам, конечно, показывали, как стреляли по Белому дому? Хочу сказать – слава Богу, большевикам дали по рукам! Только жаль напрасно пролитой крови. Уже второй год пытаемся разобраться – кто виноват. Но самое главное – не допустили крови по стране. Как она всем надоела. С семнадцатого года одна кровь!

Как у вас жизнь в Усть-Башлыке после закрытия зоны? Могу только догадаться. Догадываюсь, работы нет. Но поверь, дорогой Богдан Орестович, это временно. Как я боюсь этого слова... С 17-го года всё у нас временное. Только ненависть друг к другу постоянная. Это я опять в сторону полез... Ты человек нормальный и деловой. Организуй какую-нибудь артель. Сейчас это можно и надо. Начинайте разрабатывать лес. Если нужна помощь, напиши. Я своим внукам очень часто о тебе рассказываю, что выжил только потому, что у меня в отряде ты был командиром и носил таблетки от сердца.

Если приедешь в Москву, я буду рад тебя увидеть у себя в доме одного или с семейством. Я живу в Одинцове. Это возле Москвы. Адрес на конверте. Отпиши, приезжай, дорогой надзиратель. Осуждённый Зверев, шестой отряд, статья «семь плюс пять».

Зануда перечитал письмо дважды. Оно обрадовало его и отодвинуло в далёкий тёмный угол души разговоры с начальниками. Он вспомнил шестой барак, высокого лысого человека в очках с мягким, почти детским взглядом голубых глаз. И ещё – неделю назад видел на экране телевизора своего «зека» Зверева в компании с президентом. Президент улетал. Прощался с трапа самолёта с провожающими. Зверев стоял за спиной в проёме самолётной двери.

Зануда снял трубку и позвонил.

– Иван Палыч? Зануда... Привет. Ты свободен?

– Забегай.

Капитан оделся, закрыл кабинет и ушёл на станцию.

* * *

Терлецкий сидел за столом и жевал.

– У тебя чё-нить есть? – спросил Зануда, подавая руку дежурному.

– Закрой дверь на ключ, – предложил Терлецкий. – А то какой-нить дурак забежит и доложит наверх.

– Открыл дверцу стола, достал два гранёных стакана и бутылку водки. – Выяснил, чей ребёнок?

– И ты туда же. У меня приказ. Нам с тобой нужно выяснить... Кто мамаша?.. Кто папаша?

– Я каким боком к дитю? Как я это должен делать? Я тут сутками сижу... Один помощник в больнице. Другой... От него, как от козла молока...

– Из района звонили... Кто принимал пакет – тот и пусть занимается... – серьёзно сказал Зануда.

– Так районное начальство мне никто... Если бы из управления дороги позвонили. То я ещё подумал бы...

– Да что ты испугался?! – ухмыльнулся капитан. – Наливай!

– А с чего ты такой весёлый? – спросил Терлецкий.

– Письмо от Зверева получил. А-а.. Ты не знаешь его. У меня в отряде был. Теперь с президентом в самолёте летает. В гости в Москву приглашает.

– Будем ехать. Всё – через Москву. Зайдешь в гости. – Иван Павлович развернул газету. Там лежали две котлеты, хлеб и огурцы. Они выпили. – Заедай, Бодя.

Зазвонит телефон. Терлецкий поднял трубку.

– Так точно, Геннадий Степанович... – сказал он кому-то. – Будет сделано... – Положил трубку. – Наливай, Орестович!

– Что тебя так перекосило вдруг? – спросил капитан, наливая водку. – Поезд с рельс сошёл?

– Из управления дороги звонили. Главный инженер... Там уже знают про дитё. Приказали присмотреть...

– Значит, и ты теперь за дитё в ответе!

Они чокнулись и выпили.

– Чёрт попугал... – сказал Терлецкий, жуя огурец. – А ведь сегодня не моя смена... Сидел бы дома.

– Ладно. Хватит ныть. Скажи, когда этот «пятьсот-весёлый» обратно?

Терлецкий глянул на часы.

– Вот как раз «трёхсотый-бис» пройдёт. Теперь мимо... А раньше у нас останавливался – лес забирал. Иван Павлович подошёл к окну, отворил и высунулся. Со двора долетел грохот пролетающего товарняка. Дежурный выставил в проём красненькую лопаточку. И напомнил от окна:

– Ты наливай...

Проводив поезд, Терлецкий закрыл окно, уселся за стол, взял книжку и принялся листать.

– Вот наш «пятьсот-весёлый»... – сообщил Иван Павлович с деловитым видом. – Сегодня у нас одиннадцатое мая... Правильно? Правильно. Значит, будет через десять дней... в половине одиннадцатого утра.

– Связаться с начальником поезда можно?

– Можно, – ответил Иван Павлович, подняв стакан. – Только когда поезд будет в Новосибирске...

– Понятно, – сказал Зануда.

Они чокнулись и выпили.

* * *

В маленькой комнатке, служившей Терезии спальней, было тепло. Оно шло от печки, выпиравшей круглым боком из стены.

Терезия положила мальчика на столик у своего изголовья, поставила лампу на пол.

– Ты к стенке ложись, – предложила она Богдану.

– Может, я к себе на раскладушку спущусь?

– А ты топил там? Так куда пойдёшь? А я без тебя и заснуть не могу. Тебя нет – мне холодно и тошно.

– Ты ходила на кладбище? – спросил Богдан, укрывшись.

– Ходила. Там всё ещё сырое... А как назовём парня?

– Как?.. Никак, – ответил Богдан.

– Почему?

– А что толку? Заставляет начальство мамашку-курву разыскать. И – на нары.

– Все вы в милиции – идиоты! – шёпотом возмутилась Терезия. – Ну, найдёшь ты мамашку... Предъявишь... «Твой?» А она тебе: «Да». Ты её в тюрьму. А дитё всё равно дикое останется. А может, мамашка знала, что её кича ждёт... Где проворовалась или нагадила по мокрому... Потому и бросила, чтоб ребёночек не достался зоне, а чтоб к людям попал. К нам... – Она повернулась лицом к Богдану. – Ты думаешь... детский приют – санаторий? Как наша зона, только с пелёнками и горшками. А вместо твоей «вохры» няньки, такие как Рюмка.

Мальчик всхлипнул. Терезия поднялась и зажгла на полу лампу.

– Нагрею воду. Надо молоко подогреть... А Тайка Терлецкая молодец. Принесла целую кучу хороших пелёнок и ползунков. И бутылочек дюжину. Обещала коляску отдать. Её Кристина уже выросла. Они кровать хотят купить...

Она включила чайник в розетку.

– Какая коляска, Тереза? – подавленно прошептал Богдан. – Через неделю в приют везти.

– Почему через неделю?

– Мне приказали найти мамашку. А это не шутка. Я для порядку съезжу. Где-нибудь поищу. А потом отвезу в приют. Приказ надо выполнять.

Терезия вышла и вернулась с большим черпаком. Налила в него воду из чайника и окунула в неё бутылочку с молоком. Взяла мальчика на руки, принялась кормить. Мальчик сосал и сопел счастливо.

– Когда поедешь? – шепнула она.

– Через десять дней.

– Почему?

– Поезд «пятьсот-весёлый» будет через нас обратно.

– Две недели почти... – о чем-то соображая, сказала Терезия, глядя в тёмный потолок.

– Ты чего считаешь? – зашептал Богдан.

– Как кормить, – отмахнулась Терезия. – Две недели – много... Надо пойти к Жанке. Пусть специальную кашу привезёт. Говорят, в Новосибирске есть. Из Польши возят.

Она уложила мальчика, легла рядом с Богданом и погасила свет.

Они лежали молча, вслушиваясь в тихое сопение младенца. За окном, за кедровой стеной на тёмной улице гулял шалый ветер. И каждый из них хотел, чтобы ветер поутих, чтобы вдруг налетевший порыв не разбудил мальчика.

В темноте перед глазами Богдана то возникало, то исчезало лицо Марины в белом врачебном чепце.

Терезия смотрела в тёмный потолок, и ей казалось, что видит Анастасию, которая плывёт в белом мареве...

5

Терлецкий и Зануда подошли к девятому вагону. Дежурный постучал в дверь. Но никто не отозвался. Терлецкий вынул из кармана рацию:

– Первый! – крикнул в дырки дежурный. Рация ответила кошачьим шипением и захрипела. – Без моей команды не трогать!

Из локомотива высунулась голова машиниста. Дежурный замахал над головой красным жезлом.

– Стучи! – приказал он капитану.

Зануда снова забарабанил в дверь вагона.

Она открылась. И женщина в домашнем халате спросила недовольно:

– Чё надо?

– Опускай ступеньки! – крикнул Терлецкий.

– Билет показывай! – так же громко ответила проводник.

Зануда вынул удостоверение и показал. Проводник нехотя повернула ручку рычага тамбурной платформы. Она со скрипом поднялась, обнажив железные ступеньки. Капитан поднялся в вагон и махнул благодарно Терлецкому. Дежурный свистнул и крутанул жезлом. Поезд тронулся.

– Бригадир где? – спросил капитан у проводника.

– Спит.

– Разбуди. – И вошёл в вагоне.

Женщина сдвинула дверь купе и сказала тихо:

– К тебе милиция.

– Добрый день, Женя, – сказал Зануда, заглядывая в купе.

– Здравсьте... – растерянно ответил бригадир.

– Я по поводу ребёнка... Или женщины... которая ребёнка родила у вас в вагоне.

– Это не у нас. Это в пятом, – словно оправдываясь, ответил бригадир.

– Тогда пригласите проводников, – попросил капитан.

– У нас связь не работает... – опередила бригадира женщина. – Лучше, чтобы вы сами пошли...

– Вы не хотите меня сопроводить?

– Там народ всё знает. Я только так... Идите...

Капитан пошёл по проходу, сторонясь торчащих в проход ног.

Бригадир, проводив гостя взглядом, подлетел к радиопанели, щёлкнул тумблером и крикнул в микрофон:

– Пятый! Ты чё делаешь?!

– Пассажиров нету. Буду спать... – ответил голос из динамика.

– К тебе мент! По поводу ребёнка, которого оставила деваха... Ты чё-нить придумай! Набери, чтоб он быстрее отвязался...

– А он до какой станции? – спросил динамик.

– А кто его знает? Может, до самого Хабаровска будет по вагонам шнырять...

– Без билета?

Бригадир глянул на женщину вопросительно. Она кивнула головой в ответ.

– Конечно. Какие менты берут билеты сейчас? Приберись быстро, чтоб не увидел... Водка где?

– В грязном белье... В мешках...

– Гляди там!

– Понял... – заверил голос в динамике.

* * *

Капитан подошёл к двери проводника и постучал.

– Чё надо? – донеслось изнутри.

– Милиция. Капитан Зануда...

Дверь отодвинулась, и в щель выглянуло заспанное, зевающее лицо проводника.

– К mine? – спросил он, широко открыв рот.

– Десять дней назад у вас в вагоне женщина оставила мальчика.

– Ну... А я при чём? Мы сразу сообщили в управление дороги.

– И чего ответила дорога?

– Отдать на станции... на которой мы сейчас стояли.

– Почему именно на этой станции?... Можно войти?

– Заходи... – Проводник освободил проход. Убрал с нижней полки рубашку, предлагая милиционеру место. Надел рубашку.

– Где села эта женщина... или девица?

– Я не помню... Было раннее утро...

– А ты вспомни... Ты дежурил?

– Вроде... я.

– Не помнишь, потому что был пьяный? – Зануда открыл портфель и достал чистый бланк протокола.

– Фамилия, имя отчество? Статья сто двадцать семь... – наугад сказал он. – Несоответствие... Пьянка на рабочем месте во время дежурства.

– Ничего мы не пили! – раздался грубоватый низкий голос со второй полки. – Да скажи ты! Сколько их по вагонам бросают, а нам отвечать!

– Где и когда? – спросил капитан, подняв глаза, пытаясь разглядеть говорившего.

– На станции Журиха, – ответил проводник. – В восемь вечера... Стояли двадцать минут... Пропускали скорый до Москвы...

– Билет до какой станции взяла девица... или женщина?

– До Москвы

– Журиха... Что-то я такой на нашем крае и не знаю... Это сколько километров? Сколько телепаться?

– Это где гранит рвут... Утром в половине девятого будем...

– Почти сутки пихаться, – с сожалением сказал Зануда. – А километров сколько?

– Я их никогда не считал...

– Километров семьсот, – ответил второй проводник с верхней полки.

– Девица одна была?

– Одна...

– Как выглядела?

– Как выглядела?! – крикнула полка, и сверху свесилась женская голова. – Как все проститутки, которые детей в вагонах бросат!

– А ты не в собачнике родилась? – спросил нервно капитан. – На людей кидаешься.

– Заткнись! – Проводник толкнул женщину ладонью в лоб, стараясь задвинуть её в глубь полки. – Лет восемнадцать, девятнадцать... Волосы тёмные. Под косынкой... Красива...

– А ты углядел с пьяных-то глаз! – выпалила проводник с верхней полки.

– Заткнись, тебе говорят!

– Билет этой девицы где?

– Так мы же отдаём... пассажирам, – ответил парень заученно.

– У меня терпение скоро лопнет! – грубо сказал Зануда. – Дурачка из меня не делай! И не строй из себя! Баба родила... А потом взяла у тебя билет, который до Москвы и стоп-кран дёрнула! И сказала... «Передай мальчонку в Усть-Башлык»... Так?!

– Бригадиру отдали! – сказали со второй полки.

Зануда принялся рыться в карманах и достал ручку.

– Так и запишем... Билет остался... – он посмотрел на проводника, – у бригадира после ухода роже-ницы... – И со злостью спросил: – Куда девал билет? Продав какому-то командировочному в Москве? Хорошо... Если за пьянку по сто двадцать седьмой – просто увольнение... То за торговлю документами строгой отчётности – до трёх лет... Звони бригадиру...

– Чё звонить, товарищ капитан?

– Либо ты рассказываешь всё начистоту... Или я завожу дело уже по трём статьям. Это лет на пять потянет.

– Како тако дело? – Снова свесилась женская голова с верхней полки. – Мы ещё и виноваты! Говори всё, как было! Нужна нам эта сучка со своим цуциком!..

– Села она в Журихе, – покорно сказал проводник. – Я сразу заметил, что она на сносях.

– Ты фельдшер или коновал? – спросил Зануда недовольно.

– У меня своих трое детей... от первой. И у нас пацан... Я только гляну на рожу, и сразу видно... Я у своей по цвету лица знал, кто родится... Если рожа в пятнах и живот как бочка – пацан... А если щёки гладкие и живот не сильно выпират – девка.

– Много ты знаш... Наплодил никому не нужных, а теперь на одни алименты работам...

– Да заткнись ты! – крикнул проводник. – А что удивило... Едет до Москвы, а в руках сумочка... Тут все пассажиры с баулами. А она с туяском, с каким молода кошка на свидание бегат...

– Ты у меня договоришься! – снова выругалась верхняя полка.

– Какого размера сумка? – спокойно спросил капитан.

– Ну... две бутылки водки и закусь войдёт... И только.

– И дальше что? Рассказывай! Волоком из тебя тянуть? Крик ребёнка слышал?

– Какая-то женщина разбудила. Приказала воду нагреть... Постельный комплект забрала...

– Небось выдал бэушный? – предположил Зануда.

– Чё сразу – бэушны, – недовольно сказала женщина. – Новёхонькой...

– Убыток для семейного бюджета, – съязвил капитан.

– Да, убыток! – женская голова снова свесилась с полки. – Если на каждого, кто у нас тут родился, новый комплект, то пассажиры до Москвы будут на голых матрацах спать.

– И дальше? – спросил капитан.

– Я позвонил бригадиру, – ответил проводник. – Тот пришёл, поглядел и ушёл.

– А девица... женщина?

– Дитё запеленали... А мамашка куда-то ушла... Сумочку оставила... и ушла. Должно, через соседний вагон на ближайшей станции вышла... Её ждали, а когда дитё закричало, снова меня разбудили... Бригадир приходил... С кем-то связывался... Вам отдали на Усть-Башлыке... Ещё морока будет, как постельный комплект списывать... Из зарплаты вычитат бухгалтерия...

– Комплекту сто лет в обед. По пятому кругу в дырках ветер гуляет?

– В бухгалтерии... им всё равно. Хоть комплекты ещё с сорокового года, а списывать никто не собирается.

– Приедешь в Хабаровск, скажи, что бельё у капитана Зануды... Запомнил? Пусть пишут письма...

– Капитан принялся заполнять протокол. – И в протоколе запишем... Изъят комплект белья, как вещественное доказательство. А сумка той девицы... женщины где?

Проводник не ответил. Верхняя полка тоже молчала.

– Сумка где? – повторил Зануда.

На верхней полке началось шуршание. Зазвенели металлические предметы, падающие один на дру-

гой.

– Нате... – С полки свесилась чёрная лакированная сумка.

– Что ещё оставили на память от мамы?.. – Капитан положил перед проводником заполненный бланк. – Распишись. И запиши... С моих слов записано верно...

Зануда вложил протокол в портфель, продхватил сумочку и вышел из купе.

* * *

Капитан постучал в дверь бригадирского купе. Та дёрнулась, точно давно готовилась к встрече.

– Спасибо за помощь, Женя, – сказал Зануда, входя в купе. – И найди мне билет от станции Журиха до Москвы.

– Так это же на рейс... туда, – ответил бригадир, давая понять, что у него нет никакого билета.

– Ищи, пока я сам не стал копать! – Богдан уселся на полку. – Место для меня найдётся в этом поезде? Постель сколько стоит?

– Да какие деньги, товарищ капитан?.. – с улыбкой официанта сказал бригадир. – В соседнем купе, пожалуйста... Чай... или пообедать?

– Спасибо, что приютит, – ответил капитан, поднявшись. – Перед Журихой – билет роженицы и кви-танцию за постель... обязательно.

Продолжение следует.



¹ Алдан – золото (тюркс.)

² Вертухай – здесь начальник охраны в зоне.

³ Шмон – от слова «шмона» (восемь) (иврит).

⁴ Статья УК «Антисоветская агитация и пропаганда».

⁵ ВАК – Высшая аттестационная комиссия. Присваивает учёные степени по материалам защищённых диссертаций.

⁶ Фрагмент известной рекламы.

⁷ Колёса – наркотики в форме таблеток (жарг.).

⁸ Чифирный кубик – пачка чая (жарг.)

⁹ Хлопак – здесь парень (польск.).

¹⁰ Варьят – сумасшедший (польск.).

¹¹ Детско – ребёнок (польск.).

¹² Тераз – сейчас (польск.).

¹³ Спшедажка – здесь продавщица.

¹⁴ Пенёны – деньги (польск.)

¹⁵ Влада – здесь власть

Виктор КАМЕРИСТЫЙ



Семён

... **В** деревне считали, что Семён мужик скверный, потевший стыд, но он так не думал. Чувство вины за прожитую жизнь в нем никогда не зрело, потому что, по его мнению, был не таким, как все.

По дороге к дому злился на себя, на власть, проклинал и себя, и её. Когда приблизился к деревне, неожиданно для себя сел на пыльную дорогу, вытянул свои короткие ноги, обутое в видавшие виды сапоги, и зарыдал.

... Всё, чем жил, промелькнуло в памяти. Сколько себя помнил, всегда был убеждён, что его жизнь создана исключительно для него и не даёт ничего другим людям, кроме того, что именно он сам светит, даёт тепло и радость семье. Ему не было стыдно, что его дети разутые, раздетые, голодные идут в школу, а он, выпив водки в чайной, доволен жизнью. Став деревенским старостой, делал всё, что велела ему власть. Стал ее плотью и кровью, потому что знал, видел и чувствовал, что и он, народ и власть едины. Сколько раз стоял в окружении толпы, состоящей главным образом из женщин, с высоко поднятой головой.

Сколько слёз пролила его жена Наталка, говоря ему: «Ты бы домой лишний мешок зерна принес, ты бы о детях подумал... Вон у Катьки обувки нет, да и у Ваньки...»

Он мотал головой, будто отгонял комарье, прикрывал вечно влажные глаза, говорил без дрожи в голосе одно и то же:

– Всё в руках... Божьих. Как Он даст.

Не думал, не гадал, что Бог ведь смотрит на него пристально, но Он не палач и не адвокат – Он судья. Строгий такой, что будет судить и за слова его дерзкие, и за дела мерзкие, за все, что сделал в жизни. Нет, Семён осознавал свою правоту и верил в свою избранность перед Богом – так, как избран был, по его мнению, он или комиссар, который часто навещался к ним в деревню. Хотя на всякий случай перекрестился перед образами и снова закрыл их шторой.

– Но... – попыталась было добавить Наталка.

Семён начал нервничать. Он не мог позволить ей иметь свое мнение, стал кричать. Кричал сбивчиво, довольно путано, перескакивал с семейных обид на школу, на учителей и закончил тем, что сел, уткнувшись в окно. Так он выражал свою мужскую справедливость. В избе наступила абсолютная тишина, он молчал, Наталка молчала, но, высоко подняв голову, не прятала глаз.

Прихлебывая чай из блюдца, Семён рассуждал сам с собой о премудрости семейной жизни: «... Впрочем, что ни толкуй, как ни злись, от семьи, как и от прошлого, не отвертеться. Завтра сена бы натаскать... Счастливы те, кто в городе живет».

Прошёл год.

...Он покорно подошел к ступенькам, низко опустил голову, покорно ожидал своей участи. Наверное, еще год назад он не был бы покорен, потому что сам считал себя осколком, частью власти. Наверное... Но он попался. Попался на том, что не делился с теми, кто над ним, считая все лишнее, остававшееся в амбарах, своей собственностью. Сейчас не чувствовал себя омерзительно, он покорился судьбе и голоду. Его бессилие и все то, что двигало им в эти непростые голодные месяцы, предельно обострило в нем рабскую сущность, от которой не избавился.

– Вот, голубчик, и ты шапку-то снял, а ведь говорил мне, дескать, хозяин ты сильный, крепкий, такого, как я, мол, не взять голыми руками, – с силой хлопнул по спине Сердюка начальник уездной милиции Семеножко. – Да нет, братец, приполз к моей ноге, как ты изволил говорить, вонючей. Да и сапоги мои небось готов вылизать. Ей-богу, ты виляешь хвостом не хуже, чем дворовой пёс. Ну-ну, Семён, не тужи, не дави слезу свою прилюдно, не поможет она тебе. Ладно, довольно о возвышенном, давай о насущном. Хлеб имеешь или все сдал?

– Всё... всё, как было велено, отдал. Неужто вы могли поверить в наговоры соседей. – Семён ещё ниже склонил спину, чтобы не увидел Семеножко его глаза. (У яра, где старая копанка, там хлебушка мешков десять, но не найдет гад).

– Холера ты, Семён. Сколько тебя знаю, всегда ты имел старание спрятать от жены самогон, от детей сахарок, а от родителей и то, и другое, да и от власти отломить крохи, что затерялись в амбаре, – доверительно похлопывая по спине кнутом, краем глаз посматривая на свои хромовые сапоги, продолжал Семеножко.

Ему и впрямь была безразлична судьба этого хитрого лиса Сердюка, бывшего сотоварища, попавшего на воровстве, но он мог поклясться, что этот хитрец все-таки спрятал мешок-другой зерна, таким он уродился. (Впрочем, к чему эти мытарства. Все равно не подойдет, спрятал он зерно или не спрятал. Такой, как Семён, выживет. Не в этом ведь дело. Там, на хуторе, живет пескарь пожирней, вот у него-то).

– Ладно, некогда мне с тобой о зерне да о твоей судьбе. Нет, так нет. Иди, Семён, к жене, к детям, а там...

Будто во сне шёл Семён к своей избе, но предчувствие беды не покидало его. «Как ни крути, три или десять мешков зерна погоды не сделают, но жить эх как хочется. А дети? А что собственно дети? Я, значит, спину прогибаю перед властью, крохи с утра во рту не было... А жена?» Он напряг память, вспоминая томные посиделки под сиренью, у старой хатенки, где жила тогда веселая, кареглазая Наталка... Сколько говорил ей слов ласковых, добрых? Сотни раз. Сколько он ей всего обещал? Много.

Семён шел быстро, оглядываясь вокруг, а луна, будто понимая его замысел, исчезла, уступив место серому туману, стелившемуся от земли и до острых верхушек сосен. Было тихо, пахло весной... и голодом. Скольких убили здесь осенью? Скольких он помогал погрузить на подводу и потом схоронить не по-христиански, без отпевания, в огромном яру, куда скидывали всех тех, кто посмел... Он шел к полю, где давно был собран урожай, но в темноте были слышны чьи-то стоны.

«Чудак я, однако. Все лето хранил спрятанное ото всех зерно, не позволил себе подобрать с поля зернышка, а теперь вот иду, ищу полусгнивший колосок. Зачем? Или мне не хватает того, что имею? А что имею? Может, и меня стрельнут, как тех, кто посмел? Нет, я все же предан власти, а уж потом все остальное или не все?»

Семён напрягал зрение, пытаясь разглядеть, что там, на поле, но не смог. Вдруг раздался выстрел, крики и топот копыт, и он побежал. Он мчался, не разбирая дороги, думая: «Хорошо, что туман, и хорошо, что луна спряталась, это меня спасет, сбережет для...»

Ноги заплетались от усталости, в легких пробивались хрипы, но он бежал, цепляясь за корни и ветви деревьев. Его не преследовали, да и зачем. Семён подходил к окраине деревни осторожно, как вор, что выискивал избу, где можно пожить. Вошел в свою избу так же осторожно, будто не в дом к себе. Хотел было крикнуть, позвать Наталку, да вспомнил – нет ее среди живых. Только тихое шевеление на печи – там спят его дети.

«Мои ли дети?... А может? – впервые мелькнула голодная, но такая страшная мысль. – Может, и вправду... А что?... Чем умирать вот так, заживо себя схоронить... Ведь смогу-то выжить, а там...» Он смотрит на печь, на стол, на керосиновую лампу и видит: за столом сидит Наталка, жена его верная.

«Но она же... Что за диво? Или я сплю, или она живая и невредимая с того света ко мне пришла», – подумал и неожиданно услышал голос, тонкий, прозвучавший внутри: «Живая она, Семён, только с дороги дальней. Ты бы чем-то ее попотчевал».

Семён достает из дубового сундука еду, кладет на стол и видит, что Наталка улыбается ему.

– Ты бы сел со мной, Семён. Посидел бы, рассказал, что там, – она кивнула головой в сторону окошка, – делается. Что люди говорят о голоде?

– Как, что? – он поднялся. – Ты ведь сама все знаешь. Кто запас еду, тот жив, а кто нет, тот теперь тянет с поля гнилой колос. Но мы ведь с тобой запаслись...

Он продолжает говорить, рассказывает ей о деревенских новостях, а все тот же тонкий голосок внутри нашептывает: «Ты ей озвучь свою мысль о мясе. Ну-ка, не терзай себя сомнениями. Скажи ей всё».

– Вот помнится мне, ты рассказывал о том, как сидели вы вдвоем, пили водку да о человечине говорили, так это, Семён? – опережая его слова, произносит, будто нехотя, Наталка. – Говорили, что узнать вкус хотелось. Это спьяну так вопрос был поставлен или действительно вкусить плод запретный хочешь?

– Да-а... – Семён не знает, что ей ответить. Внутри что-то прорывается, что-то хочет опередить его слова, но голосок-то уже там место себе занял, прижился он там, теперь всем командует. – Хочу, но где его-то, мяса, взять.

Произнес, а глазами на печь уставился. Губы растягиваются в ухмылку, тяжелое дыхание изо рта, глухой звук, а все недоброе, все, чем жил, что давило столько лет, наконец-то прорастает.

– А ты со мной испробуешь? – Семён поворачивается к Наталке, но вместо нее видит на столе обычный кухонный нож.

Превращение человека в животное требует большего времени, но для Семёна сделано исключение. Время принятия решения созрело не сейчас, а давно, еще тогда, когда пили водку в тесной избе сельсовета, а заезжий комиссар, ковыряясь в зубах, рассказывал о людоедстве.

– И что, жрут? – Семён не мог тогда поверить в услышанное.

– Жрут, – зевая, отвечал комиссар, поглаживая свой живот. – Еще бы не жрать, если вкусное оно.

Комиссар безмятежно смотрел на Семёна как на своего сотоварища по ратному труду, а Семён чувствовал правду в словах комиссара, верил, что такое возможно. Именно тогда, впервые, появился в его голове разброд мыслей. С одной стороны, они были страшные, но, с другой – ничего такого страшного в его мыслях нет, они приемлемые, такие надежные, крепкие. Но больше никаких задержек, никаких других желаний. Голосок, окрепший, уже с басовитыми нотками, твердит, указывая на печь: «Давай, испробуй».

Дышит тяжело, делает два нетвердых шага к печи, протягивает руку, одергивает штору и видит спящие ангельские лица своих детей. Еще шаг... короткий рывок.

«Это не твои дети! Это кусок парного мяса. Они будут сейчас кричать, но ты не слушай, не поддавайся на обман. Ведь они тебя сколько раз обманывали», – шепчет, заглушая искру разума, голосок. Семён на короткое мгновение застывает, трясет головой, будто гонит прочь что-то чуждое из своей головы, но... Нет чувств, нет страха и возмущения, есть только ярость и обида и поселившийся навсегда мрак в сердце.

Его руки густо испачканы в крови... Они трясутся, разбрызгивая капельки крови по глиняному полу, по стенам... Но разум, душа и сердце остаются безразличными к тому, что произошло. Нечеловеческая злая сила и нечеловеческое желание помогли исполнить эту работу, на которую он сам вызвался.

«А что я сделал? Да ничего. Наверное, так правильно. Сильный забирает у слабого. Слабый и обреченный отдает сильному себя целиком, – рассуждает Семён, поедая горку парного мяса, и это наполняет его весельем, будоражит... душу. – Надо спрятать часть мяса в погребе. А если кто учует да заберет? Не дам!...»

Немалых усилий ему стоило подняться, слыша в себе бурчание вздувшегося, насытившегося «едой» живота. Прилег на пустой лежак, распрямился удобнее, устроил наполненный желудок.

В сытом сне он кричит, но не слышит собственного крика. Он кричит от боли, оттого, что мясо не пошло ему впрок. Он стонет, но не слышит своего стога, как не слышит его никто, ведь изба пуста. Хотя нет. В углу, там, где образа, за шторой стоит Наталка, прижимает руки к своей груди и молчит. Да что она может сказать? Ничего, ведь ее земное время исчерпано. По ее бледным щекам текут искрящиеся на свету слезы, а что ей еще остается, как только скорбеть и мужа своего ожидать, а еще безмолвно смотреть на изуродованные тельца детей, что распухли, почернели, лежат горкой в кладовке.

«Вот и все, – так прозвучала мысль и, угасая, добавила сердечной боли. Липкая, навсегда проникшая в его тело слабость начинала отбирать не только память, но и душу, что еще жила в этом омерзительном сосуде, но понимала: недолго ей еще мучиться, недолго. «А может, спасу душу? Может, дам картошки, зерна дьякону, он и отмолит мой грех, а соседке, у которой трое мальцов, еще оставшихся в живых, крошки со стола, мне ведь так мало надо».

Он забыл, как убивал свою кровинку, плоть от плоти своей, а потом пожирал, сука, не думая, не сплевывая, хотя знал, что кусок тот дьявольским огнем опален. Разве он спал? Разве сон разума родил в нем чудовище? Нет, он рожден был чудовищем и все прекрасно осознавал, но был рабом, исчадием ада, его вожаемой целью. Еще с детства, когда украдкой крал из дедовского кармана махорку, а потом из отцовского – жалкие медные гроши, что отец зарабатывал на кузне. А потом воровал (для себя) у семьи, пряча добро свое по сараю, и, прислонив щеку к мешку с зерном, таял душой. Забыл, что пил водку и мечтал испробовать что-то необычное – такое, о чем комиссар говорил, как будто знал не понаслышке.

Семён тяжело хрипит, но поднимается и, шатаясь, идет из избы во двор. Голос, что был над ним полноправным владыкой, исчез, а его место занял звонкий голос дочери: «Папочка, я тебе такой вкусный блин приготовила. Для тебя, папочка!»

Во дворе стоит груша, еще посаженная руками деда, от нее наклонившаяся к земле толстая ветвь, которая неохотно, но примет бречное тело. В последние мгновения жизни он издает леденящий кровь крик, что срывается с его губ, и неожиданно вспомнил маму, отца, деревенского кузнеца, родные места, а еще церковь, которую помогал изломать, снести с лица земли во имя власти. Он вспомнил, как старенький, тощий, с красными кругами у глаз дьякон Василий, сидя на траве, прижимая к груди лик Спасителя, качал головой и приговаривал: «Что же это, Господи?..»

Будучи мальцом, Семён часто приходил в церковь, слушал слова дьякона о Боге и под звон церковного колокола мечтал быть таким же чистым. Дед, вытирая губы от табачной крошки, смотрел на него в упор и, качая головой, говорил всегда одно и то же: «В тихом болоте нечисть водится, а внучок им

верная подмога».

Он хотел стать семинаристом, быть добродушным, смирным, быть похожим на Него... но его рука, сама того не ведая, тянула все, что попадалось ей на пути. Сколько нательных крестиков он стянул, пока дьякон Василий читал проповеди? Сколько медных монет он положил себе за пазуху, заглушая боязнь перед Богом тем жаром, что горел в нем, сжигая с каждым днем частицу души? Сколько времени он потратил, когда, спрятавшись ото всех, гладил грязной ладонью украденные им пятаки. Его душа час за часом уплывала в руки того, кто стал властвовать над ним, его мыслями и чувствами. Да и к власти стремился, чтобы стать настоящим хозяином, себе кусок урвать пожирней, послаще. Он позабыл свои мысли, чувства, когда, обнимая детей, произносил: «Мы... семья. Да за вас... да вот для вас...»

Так было тогда, в годы светлые, годы счастливые. Разве мог он подумать, что лишится места у крыльца, на котором веснушчатый Егор Петров, ставший в уезде комиссаром по земельным вопросам, клеймил позором кулаков и прихвостней кулацких. Когда народ расходился, они вместе пили, горланили песни кабацкие, и он, Семён, был счастлив от мысли, что и он – власть, и ему – все позволено. Именно там, слушая комиссара, ему захотелось узнать вкус власти, и именно там он приобщился к легиону, для которого смерть ближнего – радость.

Он отбросил мысль, что звала: «Господи, спаси меня грешного». Не видел незримую надпись на руках, сопровождавшую каждого человека в земной жизни: «За зло и кровь – адские муки. За добро и покаяние – милость Мою».

Сердце надсадно стучит в груди, задыхаясь от нехватки кислорода, а легкие разрываются на мелкие части, и вот он, мучительный мир оживших, так долго ожидавших его призраков. Мучительная смерть, когда боль не уходит, она остается с душой навсегда. Призрачные тени растворяются в воздухе, наполненном запахом сирени, символом долгожданной весны. Смерть подводит итог, незримую черту под первым актом жизни и началу второго, мучительного.

Всё...

Дочки-матери

(Век 21-й)

Да, она знает, что проститутка. То дорогая, то дешевая проститутка.

– Сколько? – звучит ее вопрос, обращенный к седому мужчине, явно при деньгах. Его взгляд ее манит, он обещает, нет, не радость секса, а деньги, мятые купюры, которые сей господин, назвавшийся Стасом, упорно «зарабатывает» на овощном рынке. Она чувствует запах: запах пропавших гнилых овощей, картофеля или моркови, что, в общем-то, неважно.

Настя понимает, что этот запах и она, буквально умытая дорогой французской парфюмерией, несовместимы, но работа есть работа.

– Вдвойне, – лепечет слова к добавке к ее обычному «гонорару» Настя.

Мужчина скалит зубы, произнося едва слышно:

– По полной программе...

Она понимает смысл этих слов, но они ее не пугают. Да и что значит «по полной», если его вид не настораживает, а слова подстегают.

– Будешь доволен, кавалер, – отвечает Настя и, высунув кончик языка, подмигивает лукаво.

Пока они едут куда-то в глубь города, а Настя нехотя вспоминает первые уроки «мастерства», когда устраивали невинную групповуху.

...Седьмой класс. Осенние каникулы. Две девчонки и шестеро парней, ее одноклассников, купив несколько бутылок вина, побрели во двор детского садика. Они пили вино, а потом на сырой земле занимаются тем и так, что и как происходило дома. Пацаны по очереди «познают» своих одноклассниц, не понимая, не ощущая, что же значит то, чем они занимаются.

Настя помнит из всего произошедшего только сырую, холодную землю и пьяный дурман в голове. Она ничего не сказала маме, да, впрочем, маму она нисколько не интересовала. А потом – новый круг «друзей», некое таинство, где вино и сигареты заменяют все. Книжки, общение, чувства... А позже, уже в десятом классе, первый аборт, слёзы, крики матери о том, что нужно предохраняться. Тогда поняла – ей нравится, ее затянул процесс, что меняет маслянистые взгляды сменяющих друг друга, а она – царица на несколько коротких минут.

Выпускной вечер, мысль о том, что школа остается позади. Во время выпускного бала Настя ловит себя на мысли, что презирает своих одноклассников. Они ей не интересны. Школьная форма, учителя с презрением и с превосходством в глазах, так ей виделось. Она начинает требовать плату, и однокласс-

ники с готовностью ей платят. Легкий, ничем не обременяющий ни душу, ни плоть секс за мороженое и решение контрольной задачи, за вечер в летнем кафе...

Мама, Наталья Кирилловна, наставляет Настю: «Не позволяй целовать тебя в губы. Имей всегда презерватив. А еще, моя дорогая, держись принципа: Деньги – вперед!»

Мама и дочь, говорят, единое целое. Мама должна давать наглядные, значимые для дочери уроки. Кто в морали, кто в пороке...

Когда Настя родилась, а Наталья Кирилловна освободилась от опеки очередного, шестого по счету, мужа, взглянула на дочь, увидела, что у Насти по шесть пальцев на ногах. «Значит, такая ее судьба. Не уродина лицом, а пальцы...» – думала Наталья Кирилловна.

Она не знала, не могла знать, что этот знак – страшная метка, с которой природа, крича, выбрасывает свое родившееся дитя, отдавая его на произвол судьбы, точнее, во власть темной силы.

Настя не хотела, да, впрочем, и не могла учиться дальше. Того не хотела мама, а еще потому, что у нее теперь была работа. Однажды ее насиловали трое, а потом и пятеро пригласивших ее «в гости». Она видела циничные, наглые ухмылки, она видела блестящие от удовольствия глаза, и ей казалось, что она летит куда-то вниз, в пропасть, в ад... Спустя час, крича от боли, но ее крики лишь подстегивали ее новых «клиентов». От запаха похоти, пота и алкоголя все кружилось. Она слышала скрежет зубов, чувствовала покусывание мочек ушей... она слышала в себе то, что составляло гордость небритых, пахнущих пивом мужиков. Она слышала, как ее тело вертели в разные стороны, и ей казалось, что она видит себя со стороны.

– Смотри! Смотри и запоминай, – твердила она, считая, что по глупости своей попала в западню.

Когда все было закончено, а она лежала, уставившись в потолок, Настя готова была покончить с собою, так ей было больно. Все, что она раньше знала, чем занималась со своими одноклассниками, казалось сейчас детской забавой. Когда слова негодования сорвались с ее губ, тот самый первый ее «герой-мужчина», почесывая грудь, рассмеялся, похлопал ее ниже спины, произнес гортанно:

– Дура ты, баба. Зачем? Такой персик стоит и похвалы и денег. Держи, они теперь твои. Хорошо работала, хорошо получила...

Настя смотрела на него, потом перевела взгляд на купюры, лежащие возле нее, поняла. Никогда и ни за что она не станет думать о гадости ее жизни. «Это работа! Понимаешь, Настя! Работа», – убеждала себя Настя.

Так катились месяцы. Менялся контингент, как у нее, так и у мамы. Вместо нормального вида мужиков теперь к маме часто заскакивали «на чай» малолетние пацаны, которых она учила «жизни» и всему, что надо знать мужчинам. А когда в их квартире наступала тишина, мама замечала Настю. Она снимала парик и, обнажив убитые перекистью остатки волос, произносила:

– Не плохо нам, Настюха, живется. Хорошо мы устроились...

Настя часто встречала своих бывших одноклассниц и, глядя на их детей, с ужасом думала, что вот у нее когда-нибудь, если она «уволится», забудет о «резиновой броне», родится такой вот больной мальчик или девчонка. И он или она украдет ее свободу, заставит служить себе... Лишит «радости жизни» и... заработка.

Глядя в зеркало, Настя не замечает, что ее губы вызывающе накрашены. В ее глазах, давно погасших – равнодушие и пустота... Ее лицо – горящее только желанием иметь деньги, старится быстро, будто торопится. Для чего ей деньги, она, если ее спросить об этом, не знает. Ей комфортно. Ей сыто. Она полностью довольна жизнью. Да, она понимает: она – проститутка, сытая, наряженная в импортные одежды проститутка и ей это нравится. Говорит себе: «...Пять-шесть клиентов... за сутки... А это, моя дорогая, штука баксов, а это возможность купить тряпки, духи и свалить на дня три к Вахтангу... и оторваться по полной...»

Спустя годы...

Ее мама, Наталья Кирилловна, смотрит на дочь, молчит. Ей страшно произнести это слово, но она должна... Она говорит, вытирая потный двойной подбородок:

– Настя, ты только не сердись, выслушай меня, – Наталья Кирилловна на секунду замирает и, изменив тон, продолжает: – Меня обзывают соседи тварью. За тебя. За то, что я тебя такой сделала, но не верь им, это не я, это...

– Не тужи, мама. Не тревожь раны, от которых меня тошнит. Тебя тревожат расспросами соседи, – начинает заводиться Настя, понимая, что мать на склоне лет хочет стать чистой, оправдать свою загаженную грехом жизнь. – Ты всегда меня опекала: Настеньке – конфетку. Настеньке – игрушки, но только

Настенька сиди мышкой, а я, мол, тут с мужиками шуры-муры покручу. Ты еще та была, мама. Любимой доченьке парфюмерию задрипанную, ту, что Стасик тебе подарил, так ты ее мне, на, мол, доченька, это, это... от двадцатого или от сотого – не помню уж, сколько их было пап. Да ты – не мать! Ты такая же сука, как и я. Только я молодая, а ты уже отжила свое, ну и, конечно, завидуешь небось, все подсчитываешь мои барыши?

За взрывом гнева последовала улыбка, странная улыбка, говорившая матери, что Настя просто дурачится, наверное. Беззлобно...

– Да что ты, доченька, что ты! Я не о том хотела тебе сказать. Может, тебе оставить работу? Может, тебе здоровьем заняться?

За столом тишина, где каждая из сторон, капризно надув губы, обдумывает что-то «свое». Настя не беспокоится о своем здоровье, хотя «первая проба» на холодной земле в детстве дает о себе знать.

Проходит еще год, и слова матери о ее здоровье нашли свой отклик.

...Когда машина реанимации, взрывая тишину ночного города, наконец-то приблизилась к приемному покою, лицо Насти не изменилось. Лицо – застывшая бледная маска, без мысли, без страха... «Неужели умру? Неужели вот так возьмут и меня, Настю Кротиеву, отвезут, потом... спустя несколько минут – в морг? За что? А как же работа?»

По ее щеке, покрытой толстым слоем румян, катится одинокая, «честная» слеза. Ей жалко себя, свою жизнь, где все так прекрасно, так легко и так беззаботно. И тут же мелькает самое страшное, самое жуткое воспоминание: Темная безлунная ночь. Она, Настя, шатаясь от боли, от потери крови, украдкой прячет очередной «плод» своей «свободной любви» в пустой пакет, а затем кладет его поверх бытового мусора. На ее лице только боль. Нет сожаления о ребенке, которого она, родив в присутствии родной, но молчаливо наблюдавшей за ее действиями матери, душит ребенка (девочку). Тихий, не детский, кошачий вскрик, и все.

Настя вышла из больницы, застыв на месте, смотрела на багряное, уходящее на покой солнце. В ее глазах застыло растерянное выражение. Сейчас она не знала, что же ей делать. «Идти домой? Вернуться на работу?» Присев на скамью у ворот больницы, неспешно, почти машинально достает из сумочки пачку сигарет и зажигалку. Прикуривает, и когда рука опускает зажигалку в сумочку, нащупывает пачку презервативов...

Перед глазами встает картинка: Она видит по центру операционной красную линию, ту, перед которой останавливается каталка, а на ней, с открытыми глазами – она. Она не знает, не понимает, что означает эта красная линия, но за ней, и она это чувствует, иная, чужая, пугающе чистая жизнь. Линия пугает, она тревожит в ее душе что-то, давно забытое, то, что она не хочет и не может вспоминать. Но память упряма: Операционный стол. Яркий свет, и снова – каталка и слова врача: «Жить будешь. Почистили все, убрали опухоль, зашили, в общем, ничего страшного, так что...»

В голове лишь одно: Жить будешь! Будешь жить!

И снова – красная линия, но теперь Настя, ухватившись дрожащими, слабыми пальцами за халат врача, кричит. Она не хочет отсюда. Хочет остаться в этом чистом, девственном мире... где, впрочем, она никому не нужна. Глаза молоденьких медсестер-практиканток глядят на нее в упор. Они не знают, кто перед ними, и очень хорошо, что не знают.

Настя видит их дешевые сережки, чистые лица без макияжа и слышит исходящий от них девственный, непорочный запах. Их глаза будто кричат: «Ты такая молодая, но уже не женщина! Ты никогда не сможешь узнать таинство рождения ребенка! Ты... жалкая... Несчастливая...»

Настя не понимает, почему эти девчонки смотрят на нее так. Душа умерла. Мозг почти умер. Настя не переживает о том, чего она лишилась. Ее мысли там – на работе. «Что там? Что произошло, кто с кем. Как ее встретят ее клиенты...»

Для нее мужики – это существа, которые ей платят за ее тело, как на базаре за любой товар. Часы, минуты растягиваются... словно резиновые. Ее сердце (оно есть!) жаждет новой встречи, новых ощущений. Ее... ждут.

...Инстинкт (?) заставляет ее оглянуться, и, выбросив сигарету, поправив юбку, уходит... работать. Нет мыслей о доме, о том, что там, в ее сумочке, лежат который месяц скомканые справки, где написано, как в дневнике падения, что она, Настя, сделала очередной аборт... Где фиолетовыми чернилами, как в старые времена, как приговор – заключение врачей о том, что она лечилась в венерологическом отделении. Почему не выбросила эпикриз, она не знает, не помнит. Она, возможно, лишь помнит назначения мамы: «Не давай себя целовать в губы...» Она ненавидит мать, но она плоть от плоти ее дитя.

Настя рвет никчемные, подлые бумажки. Сейчас она бледнее, худее... но это пройдет...

Вот шоссе... Вот такси... Настя не поднимает руку, чтобы остановить машину. Та притормаживает, стекло опускается: «Сколько?» Настя даже удивилась: Во, сволочи, с места – в карьер. Как он догадался, что она – из «бабочек ночных»? Еще не знает Настя, что порок, грех поставил клеймо на ее лице. Клеймо кричит: «Падшая! Продажная!» Настя называет цену, ее приглашают в салон машины, она садится... и начинается ее... работа.

Действо

...Он любил и был, как считал, любимым, радовался каждому новому дню. Иван Покрышкин, высокий мужчина с чуть загадочным лицом, был не похожим на тысячи мужчин, встречавшихся Ольге. Однажды он остановился и впился в нее пронзительным взглядом, наблюдая за ней через толстое стекло витрины, смотрел за тем, как ее ловкие руки делают прически в салоне парикмахерской.

Она думала, искоса посматривая на мужчину, не сводившего с нее взгляда. «Высок, привлекателен, смуглолиц, как будто только вернулся с отдыха на Крымском побережье... Да что я попусту голову себе забиваю... Не обратит на меня внимания, пройдет мимо».

Не прошел, остался Иван. Стали жить вместе. Жили дружно, пока не случилась беда, а потом пришло еще горе.

Он стал одинок не из-за потребности своей души или злого влияния «зеленого змия» (он был со-вестлив, чтит семью), случилась беда по стечению неблагоприятных обстоятельств. Он стал никому не нужным, когда умерла жена, его избранница. Последние пять лет он кормил её с ложки, потому что какой-то подлец (иного слова не подобрать) сбил ее машиной на пешеходном переходе. Сколько боли он испытал, видя ее страдания, ее угасающий взгляд! На протяжении этих горьких пяти лет он просил Его, чтобы спас, помог...

– О, Боже! Не дай ей умереть! Дай сил ей, дай Твое, благое исцеленье...

Просил, но истово ли, искренне ли, не стоя на коленях, а как-то впопыхах, забывая слова молитвы. Хотя надежда все же была в его душе, но сколько и питай надежду, рано или поздно она зачахнет, умрет.

Потом, когда его жены Ольги не стало, он заболел. Болел тяжело, почти распрощался с жизнью, но благодаря крепкой вере (в свое дело) выжил, окреп. И тут случилась новая беда: дочь Мария, которую вырастил, любил, с которой пылинки сдувал, предала, выписала его из квартиры, да еще своего сожителя надоумила избить отца...

Он ушел, забрав с собой все то, что было создано его мыслью и пером, сидя у изголовья прикованной к постели любимой женщины. Все его добро поместилось в обычном чемодане, да и тот отобрали подростки, хозяева ночного города, и на его глазах выбросили рукописи, сочтя их обычным хламом. Когда он склонился над своими работами, разбросанными на земле, из глаз потекли слезы...

Иван рыдал, вытирая грязь с каждого листа, с каждого еще не родившегося, не увидевшего литературный свет «ребенка». Куда пойти? Как жить? Мысли, чувства и снова мысли. Глупые и грустные, обнадеживающие и шаткие, но бесполезные и пустые в безразличном мире человеческих существ.

Работал, подметая тротуары, чистил, скреб, делал все, не имея крыши над головой. Милиционеры его не трогали, было в нем что-то, что не позволяло им распускать руки. Только говорили презрительно: «Да что с него, бомжа, взять!»

Бомж! Подлое слово, придуманное подлым человеком. Просить жилье – не просил, хотя найти пытался. Только придет в ЖЭК, войдет в кабинет, посмотрит, вздохнет и уйдет молча.

На кладбище, где лежит его любовь, безлюдно, тихо, мрачно. Ржавые каркасы венков, облезлая краска на крестах. Взглянул на могилку любимой, прочел: «В ином мире будем вместе...» «Все просто... Фортуна отвернулась, удача ускользнула, а любимая... ушла».

Зимой было худо. Из теплых подъездов гнали взашей, не разбирались, кто и что. Подростки били ногами, всячески унижали – так развлекались. Иногда добрые люди пускали на ночь в холодный «предбанник» учреждения. А утром, насквозь промерзший, он шел зарабатывать на кусок хлеба, а еще на бумагу писчую, пахнущую прошлой, далекой жизнью. Наконец-то он получил кое-какое жилье: темную комнату в полуподвальном помещении. Благодарил толстого и, как казалось, брызжущего жиром начальника ЖЭКа Илью Сергеевича, но радости в глазах не было. Старая, разбитая мебель, металлическая кровать, умирающий цветок, и он, такой же умирающий старик со своим бумажным богатством. Рядом с домом, где он теперь жил, была церковь, которую он начал посещать. Придет, посмотрит в Лик Господа, помолится неумело, и – «домой».

Так проходили дни, недели, годы...

...В комнате, где он проводит остаток своих дней, темно. Здесь он знал практически все до мельчайших деталей. Там, в углу, среди увядшей листвы, нечто живет отдельно от него, самостоятельной жизнью (так ему видится). Застывшим взглядом оценивает происходящее, но страха, который преследовал его в последние годы жизни, нет. Воображение рисует нечто такое необычное, что хочется взять чистый лист и записать... Написать непременно о том, что... гложет столько лет. Он, словно смотрит внутренним, третьим глазом – тем самым, что существует, живет у таких, как он, зрелых мужчин, потерявший веру, жилье, потерявший семью и, главное, чем жил – свои труды.

Прошло немало лет с тех пор, когда он лишился жены, крова, дочери, и сейчас, глядя на ночную, кажущуюся мертвой комнату, думает о прожитой им жизни, сравнивая прошлое с настоящим.

Как было тогда, и как сейчас! Как грустно осознавать себя одиноким стариком, сиротливо уткнувшимся взглядом в темноту, теребящим пожелтевшую, подобранный в парке газету. Как трудно видеть лица счастливых, полных забот, «живых» людей – таких, каким был сам. А теперь он умер для этого мира. Уехать? Куда? Воскреснуть? Зачем и для кого? Для тех, кто его пинал, обзывал старой развалюхой, топтал ногами в то время, когда был еще «жив»? Ведь в сегодняшнем мире ничего не изменилось. А что он хотел? Видеть улыбающиеся лица и среди них – себя? Куда отправиться, в какую сторону, и где так называемый «тот мир», о котором говорят? Тот или не тот, он еще не знает, слишком мало времени прошло после тех событий, о которых вспоминает все реже и реже...

Во дворе церкви, где он часто бывал, у него возникла мысль совершить самый глупый в своей жизни поступок. Сколько прожито, а сколько предстоит прожить (кто знает), и, может, он будет сожалеть об этом дне, как сейчас сожалеет о том, что ему было дано и что уже потеряно. В одной ладони держит коробку спичек, а в другой – смятый лист бумаги. Еще секунду назад он был девственно чист, а сейчас готов стать первой «ласточкой» в процессе уничтожения всего того, на что истрачены долгие годы:

– Сколько раз я просил Тебя, сколько раз я, преклонив колено, говорил Тебе о том, что засело во мне камнем, сколько раз каялся в своих прегрешениях. Услышал? Нет, не услышал, не обратил Свой взор на меня, песчинку в созданном Тобой мире. Зачем мне дар, который лишает покоя и не дает удовлетворения? Зачем мне дар, который принес сердечную муку, душевный разлад, бессонные ночи? Зачем мне дар, плоды которого пылятся, не приносят пользы?

Иван продолжает шептать слова, которые распирают грудь, перекрывают дыхание, берегут душу:

– Зачем я жил? Зачем пришел в этот мир, если все пронеслось мимо, не воздав мне благою старостью?

Иван зажигает спичку, смотрит на неровный огонь, нервно улыбается. Спичка догорает, обжигая пальцы, но он не чувствует боли, как не слышит того, что происходит вокруг. Он где-то далеко, в своем мысленном омуте, в том состоянии, которое когда-то назвал с усмешкой: «безумной страной».

– Моя душевная боль – это просто боль, это не то, что достойно Твоего внимания, Господи?

Он в том состоянии, что не слышит ответные слова:

– О, сын мой, встань, остановись. Не делай опрометчивых шагов. Остановись, и душу извлечешь ты из оков. Спроси ее, не холодно ли ей, когда твой разум к разрушению ведет... В борьбе за жизнь ты не теряй мудрости душевные позывы... Ты им дорогу в сердце проторяй, и Я не потеряю в тебе истинного сына...

...Мысли перескакивают с одной на другую: «Возможно, я не туда пошел, не так что-то понял и не в то поверил? Возможно, построил призрачный дом, в котором нет места даже для меня одного?»

Давно высохли слезы, утих поднявший клубы пыли ветер, но не проходит душевная мука. Страдания душевные болезненны, они изматывают, источают силы. И вот итог.

...Иван понимает, что поступает против своей воли. Он не хочет, чтобы все, что создано им ценой больших усилий, сгорело. Он с сожалением смотрит на тлеющий огонек, пробивающийся сквозь ворох мятой бумаги, который неожиданно вспыхивает ярким, всепожирающим пламенем. Не слыша его мыслей (возможно, по неумолимому решению Небес), разгорается костер, в котором гибнет все то, на что ушли годы. Глупо? Конечно, глупо, но в этом нет его вины. Так думает Иван, застывший, очарованный огнем.

Он стоит молча, не делая ни малейшего движения, ни единой попытки спасти то, что так дорого его сердцу. Наверное, так было угодно Господу, ведь ничего не происходит без Его позволения. И не вспыхнут глаза интересом, и не будет ночи напролет сидеть за столом, прокручивая в мыслях, переживая яркое действо, в которых был главным действующим лицом. И не оправдывается... И не узнает, что не все в этом мире продается и не все дается легко... Иван забыл, что есть простые, сошедшие с Его уст слова: «Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят».

Только зачем все это ему?... Прости. Не ведал, что сотворил... Но... Вздохнул огонь в последний раз и погас.

Иван не знал, что за эти минуты он стал седым... как пепел сожженной жизни. Ветер поспешил унести то, что осталось...

Поднял глаза...

Он уже дома, в своей комнате, с оживающим медленно, но старательно цветком. Цветок передумал умирать, отвечал на уговоры не оставлять его, Ивана, совсем одиноким на этой равнодушной чужой душе, земле. Нечто существовавшее рядом, пугая Ивана, превратилось в тень от висевшего на шпингалете окна халата. Понятно и не страшно совсем.

Иван включает свет, ставит чайник на плиту, смахивает крошки со стола, достает из посылочного ящика, стоящего под кроватью... стопку белоснежных листов. Из небольшого школьного пинала достает ручку. Несколько секунд невидящий взгляд покоится на цветке, у которого потянулись два отросточка. Рука, послушная воле не Ивана, наверное, написала название: Воскрешение.

Этот рассказ о старухе, совершенно одинокой, живущей в покинутом людьми хуторе, и был началом возвращения удачи, успеха Воскрешения души, так тянувшейся к Господу... Не мог Отец этого не заметить!

Воскрешение...

Легко соврать в такие минуты, от которых ты не зависишь. Если верить древней старухе, прожившей долгие, порой нерадостные годы, это – правда. Но ложь ложится тяжестью на душу, и она об этом знает. Возможно, ее ложь – попытка изменить свое существование, а возможно, это самообман, часто присущий старикам.

Сейчас, когда все кажется угрюмым, серым и тоскливым, она, сидя у своего покосившегося и вросшего в землю домика, мечтает об одном: чтобы ее кто-то забрал отсюда. А еще лучше... Туда, где виднеется смотрящий в небо холм, до которого ей не дойти. Как не найти конца-края прожитым годам. Серые дни, полные апатии вечера, и она, одна, на заброшенном людьми хуторе.

Она смотрит на строгий лик Спасителя, думает о неизбежности смерти и того наказания, что последует потом. Потом – это когда она предстанет перед Его очами и Он спросит ее строго: «Раба ли пришла? Грешница?»

Когда она была маленькой девочкой, часто смотрела на икону и просила ее: «Дай... Дай мне сладости, дай мне денежку... Дай...»

Никогда, кроме слова «дай», она не произнесла ничего другого, обращаясь... к Нему. В ее словарном запасе и не было иных слов. Но спустя годы, из-за своей неразговорчивости, из-за отношения к людям, из-за старости, устав, она просила Его об одном: «Дай мне умереть... Забери!»

Смерти Он не дал. Он наказал строго и, как ей казалось, жестоко. Он заставил ее и дал возможность жить. Она жила, ублаженная старостью, прожила долгие годы, пережив всех своих ровесников, но только сейчас, когда ей исполнилось больше ста, взмолилась по-настоящему:

– Не могу больше жить! Слышишь? Не могу! Забери меня отсюда... или, лучше, дай умереть. Не могу... Спустя годы те же слова.

...Прислушиваясь к тишине, надеялась услышать хотя бы намек на ответ. Нет ответа! Гулкая, сжимающая сердце тишина. Разве мог Он сказать что-то, глядя на нее, впрочем, зная ее лучше, чем она знает себя. Конечно, нет. Определенно в ее просьбе была скрыта ложь: естественное ее состояние (с которым она родилась?) Та ложь, с которой она прожила жизнь? – пережила столько, отдавших ей сердце, мужчин. Только сейчас все было искренне: она хотела умереть. Ей скверно. Ей плохо в каждом новом прожитом дне. Правда, бывают дни, когда она чувствует в себе силы, но эти дни так редки и так безнадежны для нее, что она о них не вспоминает.

...Черная беспросветная тьма ее не пугает – она не боится тьмы. Тьма – это, пожалуй, то, о чем она думает каждый день, каждое вновь родившееся утро. Что есть тьма? Однажды она взглянула в пропасть, где зияла непроглядная тьма. И что? Что-то изменилось в ее повседневной жизни? Ничего. Так зачем ей бояться того, о чем она давно имеет собственное представление? Бояться Бога? Да, это действительно страшно, но боится не Его, а того, как Он встретит ее Там, где стоят огромные весы с двумя чашами. На одной чаше – добро, на другой – грехи.

Мысли, проснувшиеся вместе с солнцем, снова и снова вызывают: «Отче! Пресвятая Богородица, взгляните в мою сторону, дайте мне уйти тихо и незаметно. Сейчас. Именно сейчас заберите меня и мою душу, я устала. Я так устала за прошедшие годы... Я извелась, играя с собственной бессмертной душой, гнева Вас и лелея грех. Я – истая грешница!»

На короткое мгновение она замирает, вытирает трясущиеся губы, произносит:

– Неужели Ты не хочешь забрать рабу свою, освободив место для другой, более чистой и праведной жизни?

Невольно оглянувшись, как будто Тот, к Кому она обратилась, стоял за ее спиной. Мысли снова и снова кружат ее седую голову, но теперь она думает не о Нем, а о том времени, когда порхала бабочкой в этом непростом мире и когда жила вольно, не оглядываясь назад.

«Когда же это было? – старуха прикрывает глаза, наконец-то вспоминает. – Когда вернулся Степан и я впервые его поцеловала. Надув щеки, я ждала от него чего-то такого, о чем могла мечтать, но не могла выразить словами».

Она помнит его ширококостное, румяное лицо, его кудри, его глаза, в которых она тонула...

...Ноги, едва передвигая иссушенное жизнью тело, тянут ее к дому, к убитой временем избе, где она прожила годы. На подворье, где все изломано, сгнило, где нет живой души, тихо. В душных, тесных комнатах, в темноте она ложится на деревянный настил, приготовленный ею для собственной кончины. Едва слышно произносит:

– Я жду!

Вместо долгожданного прихода смерти ее уносит в долгий сон, в котором она просит Его об ином:

– Верни мне, Господи, часть моего утраченного здоровья. Верни мое нерастраченное счастье. Верни мне моего Степана.

Спустя час, проснувшись, обращаясь к Нему, просит: «Положила в гроб все фотографии, все крестики, а их – два. Мой крестик и Степана. Я готова... Так сколько мне ждать?»

И снова самая гадкая пора суток – ночь, с ее бессонницей, в которой она слушает шелест листьев за окном, тихое шуршание тараканов в печи, вспоминает о прожитой жизни.

Сон. ...Светлое, такое радостное воскресенье. Цветущие яблони, хуторские кривые улочки и ее взгляд, вбирающий в сердце привычный вид. У хуторского магазина запах папирос, дешевого одеколona, обрывки фраз, смех девчонок и счастливые лица людей...

...Ночь. Что есть рай и ад? Где место ее примирения с Богом? Какая мука отрицать Его любовь и идти Ему наперекор... Наперекор Его Воле.

...Утро. Она выходит во двор, смотрит на взошедшее солнце, но в глазах нет радости, одна тоска. «Может, набрать в рот больше воздуха, наполнить им грудь и станет легче? Нет. Моя боль – всегда со мною, она всегда во мне, сколько лет...»

Из рядом текущего родника набирает ведро воды и медленно, шаркая ногами по траве, идет в дом. Поставив ведро, она садится у окна, которое заплели паутиной пауки, и смотрит в надежде кого-то увидеть. «Кого увидеть? Никого рядом нет. Кто жил – тот умер, кто не умер – тот уехал, одна только ты и твои немые просьбы. Снова у тебя в голове кавардак. А голова твоя должна быть ясной. Как тебе такой явиться перед Ним? Причешись, умойся, выйди на свет, возрадуйся солнцу!»

Подумала чуточку, привстала и снова села, по-прежнему глядя в окно. «Это твое право – ничего не делать. Право твое, ты слышишь себя? Но, честно сказать, снова мне тошно и безразлично. Разве было так в начале моей жизни? Разве было в моей душе такое?.. Мне неуютно в этом мире и было неуютно всегда. Так заberi меня! Слышишь? Заberi!»

Решение приходит неожиданно. Надо прибраться. В доме, в мыслях, в душе...

Поднявшись со скамьи, начинает убирать, думать, вспоминать и шептать:

– Когда Степан ушел, я поняла, что он для меня значил. Была ли моя вина? Была, Господи, была... Виновна я в измене, спросишь ты? Виновна и каюсь. Грешна, виновна и безразлична. Когда Степан мой узнал об измене, пошел из комнаты и вон там, в чулане повесился. Тяжело ему было пережить мою измену. Жалела ли я его тогда? Не помню, Отче. Хотя... Вру я все Тебе, ох как вру Тебе, Господи. Помню, знаю, что он хотел с собою совершить, но смолчала, смотрела насмешливо, зло и...

Старуха чувствует, как боль (возможно последняя ее боль) входит в тело, а дурнота подступает к горлу. «Я голодна. Я столько дней без еды...»

Боль, все глубже проникая, стискивает ее сердце обручем, а язык нем. И когда она снова ожила, увидела кровь на своем давно нестиранном платье.

– Наконец-то!

Уборку все-таки закончила, любясь чистотой и порядком. Когда наступила ночь, а луна тихо, украдкой заглянула в избу, старуха лежала с широко раскрытыми глазами, глядя в потолок. Она жива.

– Наверное, моя смерть ничего не решит и ничего не оправдает. Будет кара? Кто знает, кроме Него? На короткий миг, но она Его увидела. Прежде чем исчезло видение, она, удивленная, тихо прошеп-

тала:

– Вот и Ты, наконец-то.

Самообман? Милость Божья? Последняя милость грешнице, святая роскошь увидеть в земной жизни и понять, что свою земную награду она потеряла. Сожгла за собой мосты? Где она слышала: «Очищение души приводит к исцелению заблудшего, а исцеление – это бескорыстная любовь Господа...»

Правда, она видела плохо, на глаза наплывал непонятный туман, а видение двоилось, но она верила, что это не сон. Она знала, Он рядом, Он пришел к ней и, протянув Свою руку, хочет помочь ей, впавшей во грехе овечке, вернуться. Куда?

Грехи можно отмолить, и они растают. Так когда-то произносила ее бабка, прожившая много лет, отделенная от людей массивом леса. Почему она никогда не навещала ее? Почему она, любящая внучка, сторонилась ее?

«Только бы не путались мысли! Глаза все видят, а голова кругом. Что происходит? Благодать Божья? Или моя смерть идет ко мне? Я взяла второго своего мужчину хитростью. Для чего? Чтобы жить или чтобы забыть Степана? Раны заживают быстро, но совесть, как быть с нею? Человек создан для того, чтобы лгать. Я лгала безбожно и не раз. Сотни, возможно, тысячи раз я лгала и упивалась собственной ложью и хитростью. Мне будет очень тяжело там... Не думай... Выбрось из головы все, о чем думала, о чем просила, молила. Забудь! Думай о чем-то хорошем, радостном. Но что вспомнить? Ничего кроме печали будто и нет. Для чего тогда столько жила?»

Она еще долго терзает себя воспоминаниями, но сна все нет. От слабости на лбу выступает пот. За окном бушует непогода: шумит напористый ветер, напоенный влагой.

С трудом вспоминая слова, она читает молитву. Порою она забывает слова, но это неважно, важны ее искренние слова, обращенные к Богу:

– Отче! Слова мои были лживы, слова мои были притворны. На Тебя уповаю, да не предам Тебя во веки! Грехов юности моей не вспоминай, по милости Твоей, вспомни меня... Там.

Когда солнце поднялось выше и выглянуло из-за серых туч, старуха сидела на лавке, подпирая спиной избу. Сейчас она ничего не чувствовала, кроме желания жить. Изменить все одним махом, изменить собственную судьбу. Молиться неистово, прося о прощении, и, может быть...

Но ее судьба – оставаться в темном, лишенном света и человеческих голосов хуторе, пока не позовет Он. И будет она стараться, очищая себя и свою заскорузлую душу, и приносить жертву Слову Божьему, становясь боговидной... Дождаться, встретить слова громогласные: «Не оправдается ни один из живущих».

И она не оправдается... И она узнает Кару Небесную. Божию...

А пока...

В домике ее чисто. Окна сияют... Образа в углу глядят, радуются: Живет Тварь Божия! Очищается! Лампадка теплится...

На хутор наведались из сельсовета, пенсию принесли. Повезли старуху в село, в магазин, в сельскую баню, в церковь в которой она не была столько лет... Платице да обувку подарили добрые люди. Умытая, с серебром волос старуха будто засветилась изнутри...

Приехал монтер, радио наладил, и зазвучала речь человеческая!

Хочет ли жить старуха? Ждет ли она смерти? Некогда ей думать о том, что не в ее власти. Она просто живет! Кур и уток привезли ей, щенка, кошку, и... письмо. Племянник ее ищет. И, конечно же, придет, и полюбит, а может, с нею останется. А пока... Дом, пусть дряхлый, но земля ждет не дожидается хозяина! Даст Бог, поживет еще старуха. Не зря видение-то ей было.

Ночь... В чистой горнице лампадка освещает Лик Богородицы. Улыбается Матерь Божия. На чистой простыне, под теплым одеялом, в новой голубой пижаме лежит раба Божия... На нее смотрят. Понимают друг друга две женщины: Мать и дочь. И слышится старухе:

– Вишь, как все обернулось! И люди – рядом, и Господь – в душе, и Я присматриваю... Спи спокойно. Еще нужна ты Господу для дела доброго на земле! Живи красиво...

Тишина... Будто слыша что-то, ее любимцы кот Тимур и щенок Друг подняли головы... Насторожились. Увидели улыбающуюся хозяйку и... снова нырнули в сон.

Благодать? – Да, Благодать, сотворенная Господом и старой, едва не сгинувшей душой... Помолится за них, стариков-то, неужто некому? Были, есть и будут добрые, наши, особого духа люди. Возродившаяся жизнь старухи, возродилась жизнь в старом, побитом временем скворечнике.

Эльдар БАДЫРХАНОВ



Тридцать семь лет, журналист и редактор из Москвы. Текст о Закавказье в начале 90-х, во время смуты и межнационального конфликта, об исходе армян и русских из Баку. Первая любовь, безыскусные взаимоотношения, трагедии маленьких людей на фоне этнических чисток и больших событий.

Месяц Марса

Повесть

Предисловие

В феврале, когда события, серьезнейшим образом повлиявшие на мою жизнь, только начинались, мне уже исполнилось тринадцать лет. Я болел, сидел дома и читал книжку в зеленом переплете Рея Брэдбери «451 градус по Фаренгейту», а потом «Марсианские хроники».

Фантастику я, в общем, не особо уважал, но у меня была привычка добросовестно читать от корки до корки все, что попадется под руку. Когда читал «Градус», вспомнил, что смотрел тревожный телеспектакль по этому роману, там бородатый известный артист играл главу подпольной секты книголюбов. Нас учили бояться бездушного техногенного будущего, в которое движется Америка.

А причудливый «марсианский» мир ни к какому будущему не относится. Я воображал его желтым, оранжевым и красным. Мне так казалось, я все же ассоциировал Марс Брэдбери с Марсом, о котором прочитал в учебнике по астрономии, найденном в чулане. Потом находил нечто похожее на марсианский мир на наших глинистых безлюдных холмах и скалах, подключив к реальной картинке воображение. Например, когда летом вечереет или стоит красное утреннее солнце. Жаль только внешнюю оболочку, без марсиан и марсианок. Марсианки... Неведомая марсианская сексуальность была для меня разлита в «Марсианских хрониках», хотя насколько я помню, там нет ни одной сексуальной сцены. Просто возраст у меня видно был такой.

События были не личными и не семейными, но безжалостно развинтили привычный порядок вещей в нашем доме и в моем родном городе. Это были трагические события, достаточно кровавые, чтобы быть замеченными во всем мире.

Поздней осенью того же года генерал-полковник, похожий на усталого мудрого коня с потухшими глазами, которые скрывали слегка дымчатые очки, был назначен Комендантом нашего города. В городе ввели «особое положение» и комендантский час с 22.00 до 5.00 по местному времени.

Старый генерал говорил монотонно, без эмоций, и когда он зачитывал свой первый приказ по местному телевидению, казалось, что, закончив читать, он задремлет. Но не тут то было. Дослушав до конца и уловив в неспешной флегматичной речи армейские интонационные ударения, умные телезрители поняли – Комендант свое дело знает. А ведь он никому не угрожал, лишь зачитывал список районных и транспортных комендантов. И в метро был назначен комендант. В городе власть взяла спасительная для многих его жителей хунта комендантов. Завинтила ненадолго гайки, но как ни завинчивай, резьба тогда всегда срывалась.

В город было переброшено много войск и бронетехники. Мы, подростки, армии не боялись, войска были безобидны для нас, хотя и выглядели устрашающе. Напротив, было очень интересно посмотреть на оружие и танки. Считай, парад прямо на пороге дома или школы.

Вечерами колонны двигались с ленивой, мощной слоновьей грацией. Танки танцевали, как муляжные зверушки в заставке программы «В мире животных», целовались хоботами пушечных стволов, образуя своеобразные арки, через которые должны были проезжать редкие машины, водители которых имели специальные пропуска. Еще это было похоже на неравную игру в ручеек. За шатание по улицам, а тем паче вождение машины во время комендантского часа, можно было получить до 30 суток ареста.

Все машины после 22.00 досматривались в обязательном порядке. Стой! Комендантский патруль! Шлагбаумы с такими надписями появились чуть ли не на каждой улице. Не остановишься – получишь очередь. Хорошо если по колесам, значит, повезло.

Бронированные гусеничные машины горожане со знанием дела называли «танкетками», хотя настоящие танкетки давно вымерли. Две такие танкетки, на самом деле боевые машины десанта, стояли у нашей школы, танк и две боевые машины – у продовольственного магазина. Через каждые 200-300 метров обязательно увидишь бронированную машину с развалившимися на броне тремя-четырьмя солдатами.

Ночами ревут, гудят, передислоцируются, перекрывают дороги, оставляют следы на асфальте. Даже нашу тихую окраинную улицу поместили своими гусеницами. Идешь с утра в школу, и под ногами свежие вмятины на асфальте. А днем отдыхают, стоят.

Введенные в город солдаты делились на две основные группы: вальняжные десантники и слегка пришибленные военнослужащие внутренних войск. «Десантура» была модной, на них была современная форма, красивые легкие «броники», автоматы со складывающимися прикладами. Солдаты внутренних войск в длинных шинелях смотрелись каким-то средневековым ополчением. Сходство усиливали шлемы с забралами, металлические щиты и длинные неуклюжие бронежилеты, скорее, похожие на доспехи рати из йоменов. Еще полагались автомат с деревянным прикладом и дубинка. Часто эти солдатики, в отличие от ладных десантников ничуть не спортивного вида, еле передвигались в таких доспехах. А ходить им предстояло много, патрулировали улицы именно они, а десантники лишь сидели на броне и ждали полевой кухни, лениво покуривая и сплевывая. Иногда патруль из двух «взвэшников» сопровождали мент и пара дружинников с красными повязками на руках.

Мы общались с солдатами, стоящими у школы и магазина. Заходили они и в школьный буфет, где их угостил пончиками военрук. Однажды мы с пацанами решили угостить солдат сигаретами, скинулись и купили несколько пачек «Примы», сигарет без фильтра.

Воины охраняли школу, а вернее, самих себя. Был тихий, пасмурный день. Только один десантник, парень с лицом красивым и более интеллигентным, чем у товарищей, отказался от «Примы», немного снобистски заявив, что курит с фильтром. Остальные были сдержанно рады подарку, улыбались нам, пригласили залезть на броню и заглянуть в открытые люки.

Солдаты с простыми открытыми лицами... Многие еще даже не брились-то толком. Как говаривал мой папа про такие лица, бриться бы им вафельным полотенцем. Трагической ноты не добавлю, смерть их не поджидала на каждой нашей улице и в наших подворотнях, но вторжение было бескровным или почти бескровным.

К тому времени уже погибали гражданские люди в погромах, смертью преждевременной и насильственной, и солдаты не в силах были этому помешать, но нашу семью ничего не коснулось. Через год я узнал, что такое смерть с обычной, жизненной бытовой стороны.

Мама разбудила меня часов в 9-10, рано для воскресенья. Я ложился поздно в выходные, любил почитать ночью.

– Пошли, попрощаешься с дедом, – сказала она.

Спросонья я не сразу расшифровал ее слова. Утро было свежим и солнечным. Мы вошли в комнату деда, там была бабушка Валя.

Отец моего отца лежал на спине, вытянувшись на чистом, белоснежном белье. Он был без сознания, глаза полузакрыты и пусты. Бледность подсветила желтое лицо. Предсмертный хрип. Его заострившийся подбородок вытягивался и так глубоко проваливался, грудь так сжималась, выпуская последние глотки воздуха, что и мне, не видевшему ничего подобного, четырнадцатилетнему, стало ясно – это запредельное, уже не наше обычное существование. Я тогда понял, что значит испускать дух.

Мама шепотом велела, чтобы я тихо вышел и не шумел. Потом мне пояснили, в таких случаях крики и шум могут вспугнуть смерть, отвлечь от перехода, сбить с пути. Тогда надо кричать, сказал я, так можно спасти человека. Вернуть его, потому что я явственно осознал, что смерть близких – когда еще недавно был человек, а теперь нет. Кажется, вот перемотать назад пленку, как в кинопроекторе дяди, и снова умерший будет с нами.

Но перемотать нельзя, и вот все хочется вернуться в прошлое и чтобы было по-другому, а нельзя... Чуда не будет. Поэтому, если есть возможность так просто остановить смерть, то надо было попытаться! Но мне пояснили, что так будет еще хуже. Будет несчастный лежать, прикованный к постели, парализованный, не живой и не мертвый. Без сознания, ничего не говорить и ничего не понимать.

Деду стало плохо часов в пять-шесть утра. Он пошел в туалет, умылся с мылом и на обратном пути

упал в гостиной. Задребезжали стекла и посуда в буфете.

Бабушка разбудила сына, невестку, мы жили на другой половине частного дома. Отцу вместе с женщинами не под силу было поднять деда и отнести на кровать. Люди без сознания тяжелы, уложить их непросто.

Папа побежал к соседу, старику, с которым дед общался. Вдвоем и с помощью женщин уложили деда. Вызвали от соседей по телефону «скорую».

Врач, довольно уже пожилой русский мужчина, развел руками.

– Это инсульт. Ничего уже не сделаешь, – сказал он и добавил, может, чтобы понятнее было, – болезнью Сталина.

Отец рыдает, именно рыдает в голос во дворе. Дед умер. Папа в суете и не застал последнего вздоха. Я никогда не видел, чтобы отец даже всплакнул по какому-то поводу, мужчины, как известно, не плачут. А тут он сотрясается от рыданий, по-другому и не скажешь. Закрывает лицо ладонью, пытается заглушить рыдания, и трясутся плечи.

Дед был крепок, хоть и стар, и взрослые говорили, что его смерть была преждевременной. События, мол, виноваты – переживал много, оттого и инсульт.

Спустя четыре месяца я обнаружил себя на странном корабле в январском открытом море, хотя еще накануне даже не мог себе такого представить. Но, впрочем, об этом позже. Потом распалась наша семья. Так, что все же первый сексуальный опыт, совершенно неожиданно, как и опыт морского путешествия, полученный в январе, через несколько дней после достижения мной семнадцатилетнего возраста, был не самым большим событием в моей жизни.

1

Жизнь человека как сериал, в котором он всегда в главной роли, а вокруг полно главных и второстепенных персонажей, статистов. Марину должна была играть в эпизодах маленькая девочка. Внезапно было решено показать ее повзрослевшей.

Я не сразу узнал, вернее, не сразу вспомнил ее. Марина почти не изменилась, осталась плотной девчонкой с блондинистыми кудряшками. Только стала выше ростом и грудь выросла, весьма пышная грудь.

– Привет!

– Марина? О, привет! Надо же... Давно не виделись.

– Да уж очень давно.

– Ты вообще откуда? Ты где сейчас?

– Живу в Гюняшлях, – она широко улыбается.

– Да... Сколько лет, сколько зим, – говорю, качая головой и улыбаюсь. Моя же фраза меня и веселит.

Я улыбался ей в ответ. Так всегда улыбаешься, встретив кого-то малозначительного для твоей жизни. Если ты доброжелательный человек, а не зловредный упырь. К семнадцати годам уже впитываешь эти взрослые условности.

Русская девочка Марина жила на нашей улице. Домик в чешуе облупившейся извести и покосившийся деревянный забор, обвитый вьюном и плющом. Во дворе паслись две огромные черепахи, которые смешно трескали виноградные листья. Потом ее семья куда-то переехала. Мы с Мариной в детстве много играли вместе: в круговую лапту, прятки, «ловитки». Коренастая, подвижная, бойкая, она сама была как мальчишка, и я дружил с ней как с пацаном.

Мы обменялись какими-то фразами, а потом она нас позвала в гости.

– Мальчики, а не хотите прийти к нам на вечеринку? Ко мне в гости на восьмое марта.

– Хотим, конечно. А кто будет?

– Будут две мои подружки, – улыбается Маринка и подмигивает. – Вы только захватите магнитофон, а то у меня магнитофона нет. Записывайте телефон. Я живу в Гюняшлях.

– Мы бы дали свои с удовольствием, но у нас нет телефонов. В нашей деревне телефоны встречаются редко. А когда будет восьмое марта?

– Эх вы, – Марина, покачивая головой, все улыбалась, – в воскресенье.

– Отлично.

У педантичного Тельмана всегда есть с собой ручка, хотя ручки продаю как раз я. Он записывает на пачке сигарет номер. Прощаемся, Марина убегает.

Мы остались на остановке ждать автобус или маршрутку до метро. Решили поехать в центр, погулять. Понедельник, у меня выходной.

– Ты что молчал? Сказал бы что-нибудь смешное. С девушками побольше трепаться надо, – говорю Тельману.

– Вот сам и трепись.

– Еще скажешь, не пойдешь?

– Да нет, пойду, отчего же не пойти.

– Интересно, как выглядят ее подружки... Может, они и страшные. Но что делать, кто не рискует, тот не пьет шампанское. С подругами его и попьем.

Восьмое марта будет в воскресенье. У меня «короткий день» – с 8 утра до часу дня, вполне можно успеть на праздник.

Я с января работал продавцом в газетном киоске у станции Разина. Кроме газет и журналов, в киоске продавались батарейки, воздушные шарик, тетрадки, конверты, ручки, фломастеры, линейки, клей, брелоки, игрушки. Еще сигареты, газированные напитки, пиво в банках и конфетки со жвачками ядовитых цветов. С сигарет хорошая выручка.

Я попросил своего отца Расула подыскать для меня нормальную работу. И место в киоске предложил состоятельный знакомый отца, племянник еще более состоятельного человека. Расул стал на него работать, развозить всякий товар по магазинам. Бизнесмен обещает папе место заведующего большим продуктовым магазином, который пока не открыт.

У нас с отцом не было никакого опыта в торговле, но что делать. Расул вообще сомневался, смогу ли я, еще школьник, нормально работать продавцом. Он, по чести говоря, стыдился даже немного, что устраивает сына, который должен учиться, на работу.

Для предпринимателя киоск, доставшийся случайно, за долги, бизнес явно не приоритетный. Поэтому особых надежд он на него не возлагал, и я его устраивал. Продавать газеты местные и московские – все же более-менее нормальное занятие. Любознательный чувак имеет возможность целый день читать газеты. Мне были интересны и газеты на азербайджанском. Они выходили вперемешку и на кириллице и на латинице. С этими алфавитами одна путаница, особенно для пожилых людей.

Из азербайджанских газет можно было узнать много интересного, чего на русском не найдешь. Подробности о войне, например. Я вооружился словарем и самоучителем азербайджанского и вскоре вполне сносно их читал. А разговорная практика на работе отличная, хотя и стыдно поначалу было за свои неправильные окончания и выговор.

Со вторника по субботу я работал с часу дня до 10 вечера. С утра учился в школе, в одиннадцатом классе. В «первую смену» в киоске сидел Мухтар, парень уже семейный, старше меня лет на пять. Он мастер на все руки и помимо работы продавцом «крутится» как может, чтобы прокормить жену и ребенка: сапожничает, шьет кожанки и чехлы для сидений машин, чинит мебель, малярничает.

Наш начальник – парень по имени Натик. Он привозил товар, увозил деньги и раз в неделю выдавал мне зарплату плюс 10% от выручки. Совсем небольшие деньги, но мне хватает. У нас в классе приторговывают некоторые: кто жвачкой, кто шмотками, кто анашой, но постоянной работы ни у кого нет.

Садимся на скамеечку на Бульваре, так в нашем городе называют набережную Каспийского моря. Приезжая в Москву, бакинцы недоумевают: «Ненормальные они тут, каждая улица у них бульвар. Сколько может быть бульваров?»

Достаю из кармана джинсов коробок спичек, вытаскиваю спичку, а из внутреннего кармана куртки извлекаю нож. Его ношу всегда с собой. Складной нож с деревянной рукояткой. Самодельный, но сделанный профессионалом из хорошей стали. Довольно большой и тяжелый для перочинного, лезвие с хищным, острым наконечником. И еще он отличается от перочинного тем, что в раскрытом виде несгибаем, как кинжал. А все дело в кнопке у конца рукоятки, на ее спинке. Только нажав на эту кнопку, и можно нож сложить.

Ножиком начинаю стругать спичку для того, чтобы сделать из нее зубочистку. Мы поели в кафе, немного стеснясь, заказали один шашлык, а именно корейку барашка на косточке, порцию люля-кебаба и чайничек чая. Денег хватило впритык, и на чай официанту не дали. Денег больше нет, но есть противные сигареты «Монте-Карло», почти полная пачка, спички и по жетону метро. Мы сразу жетоны купили заранее на обратную дорогу. Так что жить можно. Просто жутко хотелось съесть чего-то вкусного. Обычно обходимся семечками, мороженым, сигаретами, иногда пивом. Изредка ходим в кино.

Я ел шашлык, или, как говорят в Азербайджане, тике-кебаб, люблю настоящие куски мяса, а не фарш.

Пасмурно, но ветер теплый, пахнет морем, сыростью и весной. Закуриваем, начинаем болтать, и разговор, как обычно у нас, переходит на тему политики и войны.

Тельман – переселенец из Армении, ераз¹. Мой друг в отличие от типичных еразов прекрасно говорит по-русски, в его речь затесались и старинные слова типа «давеча». Оттого, что он жил в армянском городке Красносельске, который 150 лет назад основали русские раскольники. Ходил в русскую школу, учился хорошо, любил математику и физику. Притом что его родители и брат были людьми очень простыми и еле изъяснялись по-русски.

Семью Тельмана, как и других азербайджанцев, выдавили из Армении. Они совершили обмен частными домами с армянской семьей, которая репатриировалась на историческую родину, в молоканский городок. С восьмого класса Тельман был моим одноклассником.

– Надо вести войну до победы. Карабах надо полностью освободить от армян, и война кончится, – уверенно говорит он.

– Да блин, конечно.

– А что ты предлагаешь? Отдать Карабах армянам?

– Найти мирный путь...

– Мирный? Легко тебе так говорить! Ты не азербайджанец!

– Ну договаривай, что же ты. Скажи еще, я наполовину армянин. Скажи к тому же, что у меня бабушка русская, а русские, конечно же, помогают армянам. И лезгины с армянами в сговоре, чтобы отделиться от Азербайджана и создать государство Лезгистан. Что же ты?

– Да какой ты армянин?! Да ты не похож на армянина, даже на полуармянина не похож. Ты армянский не знаешь, а я, например, знаю. Ты и по характеру совсем не похож, они другие... – раздраженно оправдывается Тельман.

– Какие другие?

– Не знаю. Другие. Да ты вообще на русского похож. А сам ты себя кем считаешь?

– Не знаю... В паспорте написано «лезгин», значит, лезгин, хотя даже лезгинского не знаю. Но мне не все равно, что в Азербайджане творится. Баку – моя родина, – говорю.

– А моя родина Армения, получается? Да, Армения и есть моя родина. Так получается. И я люблю свою родину, там было хорошо – лучше, чем в этом вашем Баку. Красиво, сады, природа, чистый воздух, родниковая вода. Сдачу до копейки давали. Очередь соблюдали. И отца и мать называли папа и мама, а не пахан и маханьша, как тут по-блатному. Я ненавижу эти ваши блатные слова. Бакинцы – как отдельный народ.

– Да пахан мой и жалуется, что наш парикмахер-ераз, который сменил армянина Рантика, пропускает детей по очереди, тогда как его, уважаемого мужика и постоянного клиента, можно бы и без очереди. Сдачу сейчас и тут все больше стали забирать до копейки. Сам продавец, знаю.

– Там была справедливость. Там взятки не брали. Ну, может, и брали, но не так, как здесь. Здесь все за деньги. Бесплатно и здрасьте не скажут. Но теперь армяне наши враги. Враги моей страны. А ты убежишь, поэтому тебе все равно.

– Никуда не убегу, Баку – мой родной город, – возражаю, впрочем, не очень уверенно.

– Убежишь, убежишь. Я чувствую, что убежишь.

– А что же ты, такой патриот, не идешь на войну?

– Ну, во-первых, мне нет еще восемнадцати, во-вторых, я не хочу быть бараном, которого резать ведут. Я хочу, ты знаешь, поступить в турецкую военную академию и выучиться на офицера. Тогда я больше пользы принесу стране.

– Тельман, но мирный выход же должен быть. Например, обмен землями. Пока войну не проиграли...

– Какой обмен землями?

– Нагорный Карабах поменять на Зангезур, к примеру. И твоя любимая Турция станет ближе к Азербайджану.

– Ни азербайджанцы, ни армяне на это не пойдут. И потом, кто тебе сказал, что Азербайджан проигрывает? Армяне скоро выдохнутся. Их просто Россия поддерживает, оружие дает, русские за них воюют.

– Может, и верно. Но все равно неправильная эта война. Раньше армяне покидали Нагорный Карабах, переезжали в Баку, Пятигорск, Сочи, Краснодар, Москву, Ленинград, потому что хотели жить лучше. А теперь армяне так полюбили карабахские села, что готовы на любые жертвы. Сейчас вот беженцы-азербайджанцы из Нагорного Карабаха изгнаны, плачут в Баку. Но многие зацепились в столице и, узнав вкус городской жизни, не очень-то и хотят назад в свои деревни. Если их землю освободить, еще не факт, что они захотят вернуться туда.

– Как не хотят? Это беженцы! Их согнали с родной земли! Много ты понимаешь, – горячится Тельман.

После обмена еще парочкой горячих аргументов он вскакивает и резко уходит, бросая сквозь зубы,

что с бывшим другом больше не разговаривает. Вот такой у меня товарищ. И не орет, и руками не размахивает, а вот просто уходит.

Зачем надо было глупый спор начинать?! Только настроение портить. Выходной называется. От нас все равно ничего не зависит, и одинаковые шансы попасть на войну, как к ней ни относиться, думал я, парень на скамейке из 1992 года.

Я числился лезгином, потому что у меня дедушка по отцу лезгин. Все равно, кто у тебя бабушки и дед по маме, национальность – по отцовской линии. «Лезгин» – записано в моем советском еще паспорте, в соответствующей графе. Говорят, паспортисты с независимостью получили распоряжение еще и национальность матери где-то там указывать в анкетах.

2

На следующее утро, часов в семь в железную калитку постучали. Рекс привычно отреагировал громким лаем.

– Дай пройти, глупое животное. Дай открыть калитку, хватит, хватит лаять, тупая овчарка. Я все понял, люди еще спят, – отчитываю спроне собаку.

Наш частный дом в поселке Разина отделен от улицы глухим забором. Дом сложен из «кубика», ровных известняковых прямоугольных параллелепипедов длиной сантиметров 40-50 и шириной 20. «Кубики» нарезают на каменоломнях в окрестностях Баку по специальному стандарту. Часто на таких работах используют зеков, получается, настоящих каторжников. Кубики – самый дешевый и приятный строительный материал в Азербайджане. Наш дом отштукатурен и побелен, а можно романтично оставить кладку без кожного покрова и задрапировать вьюнком, плющом, шиповником, виноградником. Все это в нашем рустикальном районе растет в изобилии.

Забор из тех же кубиков, в один ряд. Стены дома двойной кладки, ширины двух кубиков.

Догадываюсь, кто постучал, но, честно говоря, удивлен. Тельман обычно такой гордый, что способен неделями и месяцами не разговаривать, и всегда я инициатор примирения. Молча пожимаю руку, зеваю и иду одеваться. Обычно я к нему захожу по утрам, когда собираемся позаниматься, а не он ко мне. Тельман предусмотрительно ждет меня за забором.

Быстро умываюсь, чищу зубы, надеваю спортивный костюм, сверху старую куртку, на голову вязаную шапочку и выхожу. Когда есть желание и время, мы бегаем ранним утром «на горе» вдоль озера.

Наша улица идет перпендикулярно дороге, можно сказать, в нее вливалась. А через дорогу – «гора». На горе тихо, безлюдно, разве что попадаются пастухи с баранами. Город, столица, а на окраинах баранов держат. «Гора» – на самом деле пологий холм. Глинистый, покрыт вперемешку травой и верблюжьей колючкой. Часть «горы» в сторону станции Разина, откуда идут электрички в центр, засажена сосновой рощей. Сосны все больше мелкие, напоминающие кустарники.

Между кучами мусора в зарослях бурьяна проходят толстые трубы. Повыше – скалы, куски древних известняковых скал с окаменевшими в них ракушками.

Моросит дождик, за нами увязываются бродячие собаки, лениво твякая. Тут на горе полудикие собаки сбиваются в стаи и барана загрызть вполне способны. Тельман упрямый, мы пробегаем равную дистанцию, но выходец из Армении с самодельными манжетами, зашитыми в брезент кусками свинца, грузом для ног.

Ближе к вершине в «гору» вросла подстанция. А с вершины, если стоять спиной к нашей улице, далекой и уменьшенной, можно увидеть озеро и мечеть. Мечеть с двумя минаретами на другом берегу озера. Вид на маленькое озеро, протяженность берега вряд ли была более трехсот метров, и мечеть служила мне в детстве близкой и яркой картиной древности и вечности. Мечеть стала и первым живым осознанием для меня того, что я живу на Востоке. Мечеть производила в детстве на меня большее впечатление, чем, наверное, Тадж-Махал на туристов.

Если спуститься по склону, более отвесному, чем со стороны нашей улицы, но все равно весьма комфортному, все кажется уже гораздо проще, обыденнее. Озеро загрязнено, в него выходили стоки, канализационные трубы, из воды торчат ржавые железки. Берег порос камышом. Потом его очистили под кладбище. Когда появились первые могилы, по датам рождения, одинаковым годам смерти, портретам молодых парней в камуфляже, сразу можно было понять, кто похоронен.

Идем к облюбованной нами удобной площадке между скал. Разминаемся каждый сам по себе. Не проронили ни слова, утром разговаривать не хочется, да и силы надо экономить, каждый знает.

В конце «урока физкультуры» обязательный спарринг. Некое подобие кикбоксинга, который нам известен из видеофильмов и всяких модных пособий по единоборствам и уличным боям. Одну такую

книжку я даже по почте выписал из Москвы.

Мой товарищ привычно надевает боксерскую перчатку на левую руку, я – на правую. Обычно так начинаем, потом меняемся. У нас одна пара перчаток, никак не можем найти вторую. Спортивные магазины позакрывались или поменяли профиль, а плотно искать нам лень, да и времени нет.

Ногами бьем символически, почти бесконтактно, но зато руками вполне чувствительно, хоть и вполсилы. У Тельмана всегда получалось лучше, а в тот день он в прямом смысле был в ударе.

– Эй, эй блин, Тельман, ты что, больной? Озверел совсем? Ты мне губу разбил, кровь вон течет. Все, все, бешеный ты сегодня какой-то. Хватит на сегодня.

3

Телевизор твердит о геноциде азербайджанского народа. Армяне взяли городок Ходжалы в конце февраля, в годовщину сумгаитских событий. Говорят, не случайно, а как акт возмездия за Сумгаитский погром, который четыре года назад произошел. Армяне в ходе штурма и после него уничтожили несколько сот мирных жителей, азербайджанцев. Еще долго шли споры о том, оставили ли армяне коридор для выхода беженцев и как азербайджанские власти им воспользовались или не воспользовались.

Азербайджанское телевидение показывало трупы почти без цензуры. Много трупов всех возрастов. Обезображенные, изувеченные тела, убитые дети. Взрыв возмущения и негодования был жуткий.

Дядя Айдын, друг детства отца, зашедший вместе с женой вечером к нам в гости, сказал, что вот все жутко возмущаются и проклинают армян, но не бывает войны без жертв. А может, виноваты и азербайджанские власти и Народный фронт, что не вывезли вовремя людей? А если специально не эвакуировали, чтобы армяне не решились обстреливать город, типа живого щита держали? Теперь смерть мирных людей хотят использовать, чтобы вызвать ненависть к армянам, свалить президента Муталибова и побольше парней завербовать на войну.

Айдын войны не хотел. Его сын Сабир только-только дембельнулся из Советской армии. Раньше срока отпустили из России домой.

– Армяне же не руками разрывали людей на части... Это от ударов артиллерии, от снарядов, на всех войнах так... Война есть война. Сами не смогли своих людей защитить, – сказал Айдын.

По телевизору показывают азербайджанских солдат в расстегнутых камуфляжах и советских в «афганках», в бушлатах и с ушанками на голове, но вот на ногах летние городские туфли. У одного даже посеревшие, когда-то белые. Камера российского телевидения намеренно выхватила такой курьез. А по азербайджанскому телевидению трупы, трупы... Отлично, надо сказать, освещают, на краски не скупятся.

В Азербайджане еще осенью был принят закон о национальной армии. Она так и называется Азербайджан Милли Ордусу, Азербайджанская Национальная Армия. Армия по-азербайджански – «орду», думаю, от слова «орда».

В конце ноября мой отец с грузчиком Тофиком возвращались порожняком на своем грузовике ГАЗ-52 из поселка Баладжары, на окраине Баку. Расул тогда работал шофером хлебозавода. Еще в начале прошлого года он по собственному желанию уволился с должности начальника автоколонны Минлеспрома и стал обычным шофером «меблевоза» на мебельной фабрике. Он шоферил в армии и после армии, так что категория «С» у него была. Водить грузовик стало выгоднее, чем сидеть в кабинете. Шофер мог подработать «халтурой», перевозить мебель, например, по частным заказам. Водители раньше неплохо «заколачивали». Однако фабрика начала загибаться, лес из России не приходил, всеобщий дефицит всякого материала на глазах губил производство. А продажей нард и прочей декоративной ерунды особо не заработаешь.

Когда ему предложили работу шофера на хлебозаводе, он согласился. Хлеб нужен всегда, каждый день. Как заработать? Например, везешь в магазин 100 официальных, государственных, хлебов и 30 «левых». Ну и копейка за «левые» делится между всеми участниками цепочки: магазином, заводом и шофером. Его роль тут весьма важна, он здесь не только шофер, но и посредник и соучастник. Такой системе никакой крах Советского Союза не грозит. Хлеб – не мебель. Мука всегда будет, а если не будет, руководство найдет способы ее «достать».

В Баладжарах стоял полк Внутренних войск МВД СССР. Серьезная часть, с бронетехникой. Папаша как раз проезжал мимо него, когда ему перекрыли дорогу «Жигули», откуда крикнули: «Сахла, сахла!»². Расул притормозил и оглянулся.

Несколько легковых машин, из них выскакивают люди в штатском, которые не прячут кобур. Останавливается ГАЗ-69, известный как «Козел», советский армейский внедорожник. Из него выходит чело-

век в каракулевой папахе с худым, важным лицом. Расул узнал его, видел по телевизору. Рагим Газиев, активист Народного фронта, который успел и посидеть в Москве за январь 90-го. Вокруг него серьезная свита.

– Видишь ворота части? Подъезжай к ним и поставь машину поперек.

– Эй, вы что, ребята, обалдели? Мне на работу возвращаться. Я вообще-то на работе, и машина государственная...

Но ребята оказались настойчивые. Всего, наверное, человек двадцать.

Расул подъехал к части и перекрыл ворота своим грузовиком, как велели. Он еще не понял зачем, но, заглушив мотор, засунул ключи в карман и вышел. Закурил, с любопытством ожидая, что будет дальше.

– Эй, Тофик, ты что не выходишь? – сказал отец грузчику.

– Да холодно на улице. Я лучше тут посижу.

– Ты что, совсем дурак?! А если сейчас военные выедут на танке, сомнут машину и раздавят тебя? Или стрелять начнут? Как раз твоя, правая, сторона к ним ближе. Давай быстрее выходи, и отойдем в сторонку. Плевать на эту машину, все равно старая. Ну они и додумались, закрыть ворота такой части одним таким грузовиком... Идиоты, да... Как будто танк или даже бронемашину так остановишь.

Расул заметил, что чуть поодаль, на дороге, люди Газиева окружили три военных грузовика. Из одного вышел растерянный капитан, кажется, полупьяный. В кабину влезает один из боевиков и пытается вытянуть солдата с водительского места. Дает ему подзатыльник, ругается и размахивает руками. Расул поморщился. Он сам был в армии шофером, и чем виноват солдат? За что с ним так?

Тем временем из ворот части выходят военные. Какой-то полковник, упитанный, с суровым лицом, настроенный, видимо, решительно. С ним офицеры, несколько солдат.

К полковнику направляется Газиев. Оказывается, он со своими людьми считает, что машины и груз (вероятно, оружие, думает Расул) принадлежат Азербайджану. Капитан, сопровождающий колонну, так не считает. Он всего лишь сопровождает, но ему нужны бумаги, документы на право изъятия грузовиков...

Когда капитану сели на хвост Газиев с командой, он, зная, что тут неподалеку полк дислоцируется, приказал ехать в эту часть, надеясь отсидеться, а потом путь продолжить... Часовые заметили, что военные грузовики окружили люди, ну и доложили.

– Я член Республиканского Совета обороны, – важно и веско сказал Газиев.

– А мне пох, кто ты такой! Для меня ты никто! – проорал полковник.

Да уж ситуация. Полковник предлагает Рагиму Газиеву пройти в часть, связаться со всеми инстанциями и вопрос урегулировать по телефону.

– Не идите, не идите Рагим-муаллим³! Они вас там арестуют, – улавливает Расул азербайджанскую речь.

Газиева уже арестовывали в прошлом году, и он в часть не хочет. Мало ли... Советский Союз еще формально существует...

«Ага, он именно муаллим. Натуральный муаллим. Наверное, в мирное время бабки брал у студентов за зачеты, а сейчас член какого-то там совета обороны... Придумали тоже», – думает Расул.

– Да зачем тебе все это нужно? Ну их всех на х... – тихо говорит полковнику один из офицеров, подполковник.

В итоге Рагим Газиев получил грузовики. Капитану ничего не грозит, просто поедут вместе куда-то там разбираться, вернее, сдаваться...

Люди Газиева рассаживались по машинам. Расулу было велено не снимать блокаду, пока они не отъедут.

– Эй, вы что? Втянули меня и сваливаете? А если сейчас меня арестуют за то, что я им ворота перегородил? Возьмут как вашего соучастника? Нет, давайте подождите, пока я отъеду.

Один из людей Газиева, постоянно не отходявший от него, пристально смотрит на Расула. Расулу кажется его лицо знакомым, он видел его где-то... Но где? Молодой еще парень, лицо осмысленное. Расул почти уверен, что русскоязычный. Но вот вспомнить, кто этот парень и где он его видел, не получается.

– Яхшы, яхшы... Хорошо, хорошо. Будь спокоен. Иди садись в машину и трогайся, – и по-русски добавляет: – Спокойно.

Расула действительно все ждут. Даже член совета обороны. Человек в каракулевой папахе, которая уже стала частью его имиджа, важно закуривает. Прячет плешь под папашой?

Шестого марта президент Муталибов подал в отставку. Отставку продавил оппозиционный Народный фронт, который возложил на него ответственность за неудачи в войне. Временно возглавил республику

председатель парламента Якуб Мамедов, доктор медицинских наук, компромиссная фигура. Якуб Мамедов назначил Рагима Газиева министром обороны.

4

Если в самом начале марта погода была хорошая, то восьмого марта она испортилась. Так всегда на этот праздник в Баку. Задул штормовой ветер, потом успокоился, ненадолго вышло солнце. Потом снова ветер, а потом еще и дождь с градом забарабанил по стеклу. Я вернулся с работы мокрый, продрогший, но в предвкушении праздника.

В буфете заметил «шампанское» с надписью по-французски на этикетке. Обычная бакинская шипучка, только с претензией. Говорят, это «экспортное шампанское», и на вкус оно получше обычного и в магазинах редко встретишь. Только вот куда на экспорт?

– Пап, а можно возьму я это шампанское? – и как бы невзначай, чтобы достать курагу и орешки, открыл дверцу буфета. Почувствовал приятный пряный запах.

– Что, куда-то собрался?

– Ну да... Праздник идем отмечать. В Гюнешли...

– К девочкам намылился? Ну возьми, возьми, конечно.

– Спасибо!

Магнитофон завернул в целлофановый пакет и засунул вместе с бутылкой в спортивную сумку через плечо. Как раз поместилось все.

– Может, тебя подвезти? Там дождь вроде идет...

– Нет, не надо. Все нормально, прогуляюсь.

Переоделся, надел синюю футболку с вышитой золотом надписью Benetton, турецкие голубые джинсы, турецкий серый свитер. Свитер и джинсы «выходные». На каждый день у меня были штаны попроще: линялые и изрядно поношенные пятнистые «варенки», давно купленные в «комиссионке», черные зауженные «джинсы», сшитые мамой из прибалтийского «денима» года два назад. Для официальных выходов есть черные штаны, сшитые недавно у портного. Тоже, однако, немного зауженные книзу. Местный консервативный дресс-код предполагает ношение именно таких штанов. Модные пацаны носят слаксы и «пирамиды» в сочетании со свитерами с надписью BOYS на животе и джинсовыми «вареными» куртками на белом меху. У меня коричневая короткая кожаная куртка, привезенная папиной знакомой из Турции. По ее словам, в приличном магазине куплена. Повязываю красиво, как мне кажется, клетчатый шарфик и застегиваю куртку.

Стучу в железную калитку Тельмана. Ветер сильный, но хорошо хоть дождь не льет. Выходит друг в калошах и без куртки.

– Ты что не собрался еще?

– Подожди немного, у меня коньяк есть, – шепчет Тельман. – Ну в канистре... С района, с завода привезли. Можно в бутылочку немного перелить.

– Ага, и выпить по дороге. Правильное решение. А для девочек шампанское отнесем. Как раз холодно, согреться надо.

Тельман выносит коньяк тайком в маленькой плоской бутылочке. Отойдя прилично от его дома, уже на другой улице находим укромный уголок, чтобы выпить. Делаю глоток, передаю бутылочку другу. Потом закуриваем сигареты Congress. Курим мало, поэтому сигареты эффективно действуют. Еще по два глотка, и бутылочка пустеет. «Коньяк» просится назад. На самом деле вполне себе приличный, украденный с завода низкокачественный коньячный спирт. Подкрашенный и разведенный.

– Мне кажется, это крепче водки или магазинного коньяка, – говорит Тельман.

– Да, точно, злая «шмура». Брр. Ух как хорошо, хоть согрелись.

Выпили немного, грамм по сто или чуть больше, но опьянели и развеселились.

– Честно говоря, непонятно, какие там девушки, и вообще идти уже что-то не очень хочется. На Маринку я никак не претендую.

– На твою Маринку я тоже не претендую.

– Но идти все же надо, надо прошвырнуться, пообщаться.

– Согласен.

– У меня такое предчувствие, что они страшные. А интуиция обычно меня не подводит.

После еще пары глотков идти к девушкам уже очень даже хочется. Хоть к каким.

Мы наскребли по карманам денег и решили купить еще шипучки и коробку конфет. Шипучка назы-

вается «Азербайджан шампаны», Азербайджанское шампанское. Оно сменило «Советское шампанское». Обычная шипучка и «экспортная» шипучка. Вполне неплохо затарились.

В поселке Ени Гюнешли так рвет, гудит и завывает, что только держись, чтобы не сдуло. Панельный жилой массив находится на возвышении, и поэтому бакинские ветра тут особенно ощущаются. Какие бетонные, серые, унылые дома... Нагромождение девятиэтажек, лабиринт. Хорошо, есть автомат у остановки, и удача, что в такие времена он работает. Звоним Марине.

– Марин, привет, вот мы приехали, стоим возле остановки. Как дальше идти?

– Привет, мальчики, я сейчас выйду, встречу вас, а то заблудитесь еще, – весело отвечает девушка.

Стоим, ждем и снова курим. Хмель выветривается в буквальном смысле. Сейчас на душе станет уныло, как все вокруг нас, думаю.

Маринкины подружки оказались настоящими красавицами. Азербайджанка и русская.

Я и не подозревал, что она дружит с такими красивыми девушками. Я бы сказал, слишком красивыми, с которыми всегда есть риск ничего не получить. Хотя надо попробовать обязательно, думал я тогда.

По лицу моего друга видно, что и он слегка офигел и думает примерно так же, только настроен еще пессимистичнее.

Азербайджанка, скорее, шатенка, чем брюнетка, кареглазая, держалась насмешливо, улыбочиво и с легким вполне допустимым высокомерием. Звали ее Севда, что является азербайджанским аналогом имени Любовь⁴.

Одета Севда была в черное платье чуть выше коленок. Фигура у нее была потрясающая, грудь – то что надо – не большая, но и не маленькая, волосы довольно длинные и волнистые, подвитые и тщательно уложенные. Пожалуй, слишком тщательно на мой вкус. Смотрится ничего, но не живенько, солидно. Много лака. Кажется, Тельман влюбился в Севду с первого взгляда. Он ведет с ней непринужденный и осторожный разговорчик.

Русскую девушку звали Лида. Лидия. Я до этого времени встречал только взрослых теток с таким именем. Оно у меня и ассоциировалось с взрослыми училками. У нас была классная руководительница, учительница по физ-ре Лидия Ивановна, еще была завуч Лидия Васильевна. Еще в книге «История Древнего Востока» читал про древнюю страну – Лидию. Холодное какое-то имя, хотя страна была жаркая. С другой стороны, имя в честь страны – это необычно. Знал я девушку по имени Сирия, и по имени Ливия тоже.

Лида сидела с равнодушным лицом, частенько отпивала шампанское маленькими глоточками и улыбалась. Мило и немного виновато. Еще она красивым движением убирала выбившуюся прядь с лица куда-то за ухо. Волосы до плеч, небрежно заколоты. Волосы светлые, если сказать поэтично, пшеничные, а глаза серые, скучающие. Красивые глаза, не оторвешься, хотя и не принято сразу сверлить взглядом. Раньше никогда не обращал внимания на то, какие у людей глаза. После того вечера стал обращать.

Руки у Лиды тонкие, запястья, как узенькая тропинка, прочерченная ручейками вен. Пальцы довольно длинные, ногти просто коротко острижены, тогда как у Севды ногти тщательно ухоженные, в меру отросшие и покрыты розовым лаком. Внешность Лиды оставляла впечатление такой ладности, притягательности, такого нужного сочетания хрупкости и округлости, что мимо не пройдешь, влюбишься. Я так думал всегда.

В ходе беседы, скорее, напряженной, чем непринужденной, выясняется, что Марина и Севда – одноклассницы, учатся в 10-м классе. Лида – их сверстница, но живет не в Гюнешли, а в центре. И приехала в гости к Марине.

Играет музыка, какие-то попсовые кассеты. «Боно серо, боно серо синьорина...» Хорошо что не «Американ бой». Надо приглашать девушек на медленные танцы, обнимать, приглушить свет и лезть целоваться. Танцы в квартире – ужасно глупое занятие, мне кажется, родом они из 30-х, когда, выпив, заводили патефон. Но медленные танцы – лучший способ сблизиться. Я тогда так и сблизился, но в тот день мне почему-то не хотелось, было неудобно. Тельману всегда и везде танцы казались глупым занятием. А умный Тельман обычно казался девушкам довольно скучным. Хотя Севда слушала его заинтересованно.

И в этот момент раздается звонок в дверь. Маришка бежит открывать и весело и громко здоровается. Входят два парня, один повыше и плотнее, другой – небольшого роста и худенький. Русскоязычные азербайджанцы, постарше нас, с претензией на модность и крутизну. Аккуратно подстриженные, ровные, как будто нарисованные проборы, белые носки.

Мне эти хлыщи определенно не понравились, да и, кажется, перебор с пацанами. В голову закрадывается мысль, что Мариша, видно, была не уверена, что все приглашенные придут, и поэтому позвала ребят с запасом. Однако за что на них обижаться? Здравуются приветливо, высокий – Рауф или Руфат,

а поменьше – Фуад, а может, Фаик. Имена тут не запомнить, я уже чуток поднабрался. Шлифанул коньячок, хмель от которого хоть и выветривался на улице, но в тепле вновь расцвел шипучкой. Да еще почти и без закуски. Девушки особо готовкой не озадачивались: два салатика, винегрет и столичный, торт и конфеты. Не пьяный, но навеселе. Очень даже нормальное состояние. Складно и непринужденно болтал, смешно шутил, как мне кажется. До прихода этих вот... Конкурентов.

Но обижаться даже глупее, чем танцевать в квартире. Тем более парни ведут себя учтиво. Они принесли коньяк и шампанское. И сами немного удивлены, что тут уже сидят двое. Держатся приветливо, но слегка высокомерно, как светские львы. Если чувствуют неловкость или неприязнь, то тщательно скрывают. Как бы ненавязчиво показывают, что мы им не соперники. В чем-то и не соперники, но в случае ссоры можно поспорить, чья бы взяла. Физические упражнения и работа закалили меня. Тельман упорно качается, готовится к турецкой военной академии. У него отличная сухая и жилистая фигура. Руки сильные, кулак мощный, хотя на вид никогда не скажешь. Обычный, невысокий, смуглый, кучерявый парень.

Новоприбывшие предлагают нам коньячок. Тельман вежливо отказывается, а я соглашаюсь. Пьяному веселее, пьяный чувствует, что ему легко и радостно. Сажу напротив Лиды и вроде бы ненароком касаюсь ее ножки своей ногой. Обувь-то на нас нет. Дурная советско-азиатская привычка обувь в квартирах снимать. Касаюсь ступни, щиколотки, коленом задеваю коленку. Понимаю, трюк пошлый и стыдно, но остановиться и пригвоздить ноги к полу не в силах. Этому пошлomu трюку мой армянский двоюродный дядя меня научил. Он всего лишь на пять лет старше меня и считает себя знатным бабником.

Ножку она не отдергивает. Чувствую этот шелк, нейлон или что там... Девушка смотрит куда-то в сторонку, вертит в руке бокал. Ну вот начинаются танцульки. Я набрался и стал задумчив, Тельман ступшевался. Он очень принципиальный, спокойный, но, если надо, задиристый. Однако тут что задираться? Нам никто ничего плохого не сказал. Признаться, Тельману и скучно стало. Ему нравятся разговоры о политике, а не пустой застольный разговорчик о всяких смешных пустяках, который следует усиленно поддерживать. Тем более тут ловить нечего, Севда хоть и благосклонна, но явно видно, что ее благосклонность дежурная, ничего не выйдет из такого высококультурного флирта. Это даже обиднее, чем когда тебя жестко и холодно отшивают. Тельман предлагает пойти домой, мол, довольно поздно уже. Я отказываюсь, твердо решил досидеть и высидеть. И решительно выпил еще. Не дождутся они, чтобы ушел, уйду вместе с этими чуваками, решил я.

Заиграла тоскливая группа «Технология». Руфат или Рауф приглашает Лиду, Фуад или Фаик – Севду. Я приглашаю Марину. Во-первых, чтобы ей не обидно было, во-вторых, не сидеть же некомпанейским, хмуро поддавшим замудильщиком.

Крепко обнимаю подругу детства за талию. Полумрак, горит торшер. Пытаюсь незаметно бросить взгляд на другие парочки. Раскачиваются, безусловно, не на «пионерском расстоянии», как у нас говорят, но в рамках, вполне пристойно, к счастью. Не «сосутся», как опять же наши пацаны говорят.

Выпили еще, я уже приплясывал, сняв свитер. Когда в очередной раз вернулись к столу, пару раз незаметно накрыл ручку Лиды своей рукой. А потом пригласил ее на медленный танец. Чувствую ладонью подвижное тепло ее тела, и от этого превосходное чувство, скорее, нежность, чем возбуждение. Или возбуждающая нежность. Но крепко обнимать опасаюсь, очень целомудренный slow dance у нас. Маришку гораздо теснее к себе прижимал.

Марина нас выставила где-то в полдвенадцатого ночи. Молодец я, что не ушел с Тельманом. Но и дальше там было делать нечего, так что молодец и Марина, вовремя вырубил патефон. Мне сразу за дверью стало казаться, у нас с Лидой все получится, хотя я даже словом наедине с ней не обмолвился. Не спросил номер телефона (боялся, что не скажет), и никаких явных признаков ее расположения ко мне не почувствовал. Если не считать, что руку не вырывала и ножку не отдергивала. И я был самонадеян.

А что творится на улице! Такой ветрище! Ночь, ветер, дождь, слякоть, мрак. Не просто ветер, настоящий бакинский холодный ветер. До дома не так уж далеко, но, пожалуй, пешком дойти будет сложновато. На машине минут 15 ехать. Автобусов не видно, до остановки добрался, но без толку. Пошел по дороге, которая, как кажется, из этих каменных джунглей к высокой горе выведет. Машин как назло нет, никаких. Одна пронеслась и на вытянутую руку никак не среагировала. Вот беда, так промок, что уже смысла не наступать в лужи нет никакого. Если бы не был пьян, разволновался бы. Наконец удалось поймать машину и доехать до дома.

– Ты что, больной? Предупреждать же надо, – говорит отец. – Я спать не ложусь, тебя жду, завтра мне рано на работу.

Я начал довольно агрессивно оправдываться.

– Выпил – лишнего не болтай! А не умеешь пить – не пей! Иди спать, я с тобой завтра поговорю.

Засыпая, думаю, хорошо, что завтра выходной. И еще думаю о Лиде. И еще думаю «фиг он завтра поговорит, завтра, когда я проснусь, он уже уйдет». И проваливаюсь в сон.

5

Утром просыпаюсь в какой-то тревоге. Еще нет семи, пытаюсь снова заснуть, ворочаюсь, но не спится. Непонятное состояние, нездоровая бодрость и тяжело, неприятно встать с дивана, стыдно вставать, кажется, что вылезут из-под одеяла все вчерашние стыдные нелепости и неловкости, а то, что их было полно, я почему-то не сомневаюсь. В детстве казалось, что под одеялом можно спрятаться от демонов и призраков, а сейчас от стыда и похмельной тревожности. Хочется пить, приходится встать и пойти на кухню.

Отец пьет чай, приоткрыв окошко на кухне. Холодно и накурено.

– Что, не спится с похмелья? – усмехается он. – Чай попей, помогает. А тебе вообще в школу не надо?

Я отмахиваюсь. Насмешливо поворчав, Расул выходит, греет машину, выезжает. Я закрываю с наслаждением окошко и пью крепкий чай с лимоном из стакана. Беру стакан и иду в комнату. Попив еще, ложусь и думаю о Лиде, я ее не забыл, возможно, даже видел во сне, только вот припомнить, к сожалению, не могу, что там было. Мне кажется она уже жутко далекой, но мне от этого еще больше хочется ее видеть, так хочется, что ноют суставы. Ничего о ней я не знаю. Может, у нее и парень есть, вышла размолвка, и не пришел на вечеринку, да мало ли по какой причине отсутствовал. Уже не верится, что выгорит у меня с ней. К тому же не знаю ни адреса, ни телефона – что делать?

Но если есть настоящее, искреннее желание снова увидеть понравившуюся девушку, способ всегда найдется. Я же оставил у Марины магнитофон. Не то, что забыл, а, скорее, не хотел показаться мелочным и так махнул рукой, мол, слушайте свою музыку, потом как-нибудь заберу. И вот есть предлог пойти за магнитофоном. Правда, я не помню номера ее телефона, он записан у Тельмана. «А зачем мне номер? Просто пойду, да и все... У нее сегодня школа, но в час дня должна быть уже дома. Ну в два часа – точно. Куда ей идти? Ну подожду на крайняк, а что?! Предлог хороший – магнитофон оставил. Хотя можно было бы и без предлога, по дружбе заглянуть... Но так лучше, а то я же стеснительным бываю. «У вас есть план, мистер Фикс?», – и я возбужденно заходил по комнатам.

Уже в полдень я звонил Марине в дверь. Непонятно, зачем приехал так рано?! Без звонка. Нужно все же было зайти к Тельману и взять номер. Но кто-то подходит к двери. Я мысленно готовлюсь вежливо попросить позвать Марину. Но открывает сама Марина.

– А, привет. Заходи.

– Я тут за магнитофоном...

– Да, да, заходи, – Марина улыбается.

Лида выходит из комнаты и тоже улыбается, насмешливо и одновременно смущенно. Она в той же юбке, только поверх колготок белые шерстяные носки. Я тоже смешался, мне казалось, все мои мысли написаны на лице, и вдобавок к предательской мимике я еще и покраснел.

– Привет...

– Привет.

Мы с девушкой моей мечты пьем чай и почти не разговариваем. Марина что-то рассказывает. «Надо же, как мне повезло. Хотя можно было и догадаться, что она ночевать у Марины останется», – думаю. Я был доволен и счастлив, а значит, к радости примешались беспокойство и тревожные предчувствия. Такой уж у меня характер.

Сейчас, при ярком дневном свете и на трезвую голову, Лида выглядит не так сногшибательно, зато ближе, располагающе, подкупающе. Черты лица у нее правильные, четко очерченные. Про такое лицо не скажешь носик-курносик, губки и глазки. Нет, именно нос, губы и глаза.

Мы, кажется, уже почти друзья, от этой мысли я смею и начинаю болтать. Беседую не так гладко, как хотелось бы, но молчать считается неправильным в молодежных компаниях. В таких случаях говорят «мент родился» или какую-то подобную глупость... А она, по-видимому, любит помолчать. Лиде пора уходить, и я навязался ее провожать.

Мы вышли на улицу. Солнечный день, послеполуденное время, настоящая весна. Мимо шмыгнул большой рыжий кот и опасливо остановился в стороне, поглядывая на нас. В Баку кошки дикие и людей боятся.

– Кошка! – сказала Лида и ткнула пальцем в сторону кота, совсем как ребенок. Я безбашенно улыбался.

Доехали до станции метро «Нефтчилер» на автобусе, а потом на метро до станции «Нариманов». По-

том довольно долго, прогулочным шагом, благо, было хоть и пасмурно, но ветер теплый, пошли в сторону «Завокзальной».

– У тебя красивое имя, – мне хотелось сказать девушке что-нибудь приятное.

– Мне не нравится мое имя. Дурацкое имя. Ты не знаешь, что оно вообще означает? Или ничего не означает?

– Знаю, название страны.

– Дурацкая шутка. Нет такой страны, у меня по географии «четверка». Твердая, между прочим.

– Правильно, сейчас нету такой страны.

– А зачем тогда разыгрывать меня? Терпеть не могу розыгрыши.

– И я терпеть не могу розыгрыши. Мы тут сходимся во взглядах. Такой страны сейчас нет, но такая страна была в древности.

– Не надо меня Лидией называть больше никогда, хорошо? Не люблю. И историю не люблю. Зови просто Лида.

– А Лида – это город такой...

– Да хватит уже издеваться.

– Правда, есть такой город, в Белоруссии. Ну почему же ты сердисься? Я думал, тебе приятно будет...

Я про него впервые узнал, когда читал книжку «Момент истины» про наших разведчиков на войне. Я вначале тоже думал, что писатель выдумал, писатели часто города придумывают. Потом проверил по атласу, и правда, есть такой город.

– Ладно, ладно, верю.

Мы дошли до «Завокзальной». По совпадению тут живет Лида. Я ей не сказал, что этот район хорошо мне знаком, что провел здесь дошкольное детство у бабушки-армянки Эмили, маминной мамы. Бабушкина квартира была разграблена, и ее с дедом Григорием и тетей Аней вышвырнули из города.

«Завокзальная» находится за бакинским вокзалом, с которого можно на электричке доехать до станции Разина. Это почти центр столицы Азербайджана, но старые дома тут не престижные, пролетарские.

В царское время здесь были улицы по номерам – 1-я Завокзальная, 2-я Завокзальная, 3-я Завокзальная... И так до 17-й. Все это вместе и есть район «Завокзальная», в народе говорят «на Завокзальной», имея в виду весь квартал. Улицы переименовывали в советское время, и не раз, в зависимости от политической конъюнктуры, потом переименовали уже в независимом Азербайджане, но старые бакинцы употребляют дореволюционные названия. Дед и бабушка жили «на углу 4-й и 5-й Завокзальной».

Большинство обитателей здешних улиц жили в «общих дворах», наподобие тбилисских или одесских, и были армянами. Еще несколько лет назад. Потом район завололенили беженцы из Армении и Карабаха, многие весьма колоритного вида. Как будто полчаса назад перестали пасти баранов на высокогорных пастбищах. Тетки в диких пестрых платках похожи на цыганок. Завокзальные армяне тоже были людьми простыми, во дворах кипели итальянские страсти, случались драки, бывало, в ход шли ножи, страшные сапожные, которыми вспарывали животы, и «финки», «пики» и «перышки». Среди мужчин можно было видеть «откинувшихся», блатных в татуировках и приклатненнх понтярщиков, экзотичные в те годы наркоманы и то попадались. Но армяне и редкие тут азербайджанцы были «городскими», немало было модников в начищенных до блеска импортных туфлях и джинсах-кроссовках, стремящихся на последние деньги выглядеть красиво. И несравнимо чище и опрятнее выглядели улицы, и лотков не было на каждом шагу.

Когда-то Завокзальная была холмистой, пересеченной местностью, но потом город задрапировал все неровности булыжником и асфальтом. Крутые склоны спрятали под лестницами.

По таким лестницам мы и поднимаемся с улицы Чапаева. Несколько ступенек наверх, потом площадка, потом еще ступеньки, и асфальт, идем в гору, хотя весьма комфортный подъем. Проходим мимо бабушкиного дома. Угловая квартира углового дома. Обшарпанные, грязные окна, на которых фанера соседствует со стеклом. Явно очень бедные люди в квартиру бабушки вселились, у них даже денег на то, чтобы нормально застеклить окна, и то нет. Нищие беженцы. Зла на них не держу, шорохи прошлого заглушены взбудоражившей меня прогулкой. Пожалуй, только чувствую легкую тревогу, чуть замутнившую приятное настроение и оттенившую непринужденный разговор.

Дедушка и бабушка жили не в общем дворе, а в «растворе», отдельной квартире с отдельным входом с улицы. Эту жилплощадь деду предоставили после войны. Приняли во внимание, что фронтовик и инвалид войны жил с беременной женой, родителями, тремя братьями, двумя сестрами, одна из которых новорожденная, в двух тесных комнатухах в полуподвальном помещении в общем дворе. Жильем это

помещение назвать было нельзя. Как раз пресловутой крыши над головой и не было. Изрядно обгоревшая, она не спасала от дождя и снега.

– Сидишь, кушаешь, а в тарелку ящерица с потолка падает, – весело рассказывала бабушка о тех днях. Несмотря на то, что свекор вместе с ее дедом крышу подлатали, как могли. Они были плотниками. Бодрый и юркий мой прапрадед, ставший мужчиной еще в XIX веке, сделал Эмилии во время войны деревянные башмаки.

Комната, которую дали молодой паре, была бывшей конторой домоуправления, угловой частью большого одноэтажного дома. В контору вела парадная дверь, вход был с улицы. Обычно здешние обитатели заходили к себе через двор, этот жужжащий улей, беспорядочно напичканный сотами комнат и комнатух, отделенный от улицы деревянными воротами с калиткой. В этом дворе, как и в родном дворе Григория, как и по всей Завокзальной, люди побогаче и некоторые старожилы жили повыше, а остальные прозябали в полуподвалах и подвалах. Многие, в том числе и отец Гриши, вгрызались в землю и обустраивали дополнительные комнатухи без окон, в которых в самый знойный бакинский день было темно, сыро и прохладно.

Контора пережила пожар. Стены стояли крепко, но обуглились, пообгорели. С потолком и полом было похуже. Но плотники помогли, подремонтировали, сколотили грубую мебель, и молодые обустроились. Оборудовали отдельную кухню. Поставили кирпичную печку для приготовления еды и обогрева, топили опилками. Позже над ними вырос второй этаж, но потолки остались все равно высокими. Дед ходил по инстанциям и с годами присоединил еще комнату. Выбил право на отдельную ванную комнату с туалетом. Он выкроил ее из большой кухни, нанял мастеров, которые поставили унитаз, а затем и ванну (роскошь и невидаль). Для получения горячей воды использовалась взрывоопасная колонка «пятиминутка». Григорий доказал чиновникам, что ему, инвалиду на протезах, и его сыну, который стал инвалидом после перенесенного в младенчестве полиомиелита, трудно ходить в общий туалет во двор и мыться в общественной бане через дорогу. В грязные, жутко вонючие туалеты во дворах ходило большинство жителей Завокзальной.

К началу конфликта между армянами и азербайджанцами у Григория и Эмилии были две большие светлые смежные комнаты с высокими потолками, совмещенный санузел, кухня. Отопления вот только не было, но перезимовать в Баку можно и с обогревателем. Бабушка Эмилия любила холод, свежий воздух.

Две ступеньки, и у входа железная скамейка в квадратный метр шириной, намертво вкопанная в асфальт, служила местом схода с соседями в летние вечера. Семечки лузгали, мороженое ели, чай пили, в нарды и шашки-шахматы играли, еще и стулья на улицу выносили. Железная дверь двойная, ее закрывали, когда надолго покидали квартиру, сенцы и двойные застекленные двери. В летние дни до позднего вечера не закрывали даже «стеклянных» дверей. Из сеней входящие попадали прямо на кухню.

Тревогой тянет от этих окон, забитых фанерой, от этой разоренной квартиры, новые обитатели которой даже и не догадываются, кто здесь жил, и уж точно и не допускают мысли, что сейчас мимо окон проходит внук ее настоящих хозяев. Я никогда уже не сверну, чтобы войти к бабушке, мы идем прямо, еще три ступеньки, переходим дорогу и дальше в гору по «потемкинской лестнице».

Вот пару площадок, и, конечно, хорошо знаком этот дом почти на вершине холма. На первом этаже хозяйственный магазин. Точно. Рядом школа №34.

Этот длинный девятиэтажный дом – новый, построили его не больше двадцати лет назад. Раньше, еще когда мама была школьницей и училась в школе №34, никакого дома тут не было, а был весьма внушительный холм. На холме, на травке, местные армяне, прихватив домашнее вино и сыр, устраивали маевки, первомайские пикники. Потом город освоил холм и наградил его внушительным домом, разительно отличавшимся комфортом и современностью от завокзальных дворов. Центр, вполне престижное жилье, куда заселялись современные, благополучные граждане. От последних армян дом, естественно, был очищен еще три года назад, но русские еще тут жили.

У двери подъезда спросил, помявшись, номер телефона. Лида его назвала сразу, без капризов. Хотя я сразу же номер запомнил, но все равно записал. Сначала на левую ладонь, а потом пришло на ум записать на купюре. На всякий случай. Ручку предусмотрительно захватил, я же планировал вывести у Марины телефон Лиды. Спускаясь назад к улице Чапаева, к трамвайной линии, из любопытства сфокусировал взгляд на железную дверь бабушкиной квартиры. Облупленная, поржавевшая, вроде бы чуть приоткрытая. Странная какая-то ветхость, прошло всего ничего. Это потому, что нет хозяев у квартиры.

Я был немного опустошен от этих всех активностей, но в голове играли какие-то радостные, опти-

мистические дудки, и хотелось скакать вприпрыжку. Центр города тоже радовал, даже в смутное военное время старые улицы сообщали приятное настроение. Пофланировал некоторое время по центральным улицам, покурив взволнованно. Было рано, и мы могли бы еще погулять, но не хотелось выглядеть навязчивым.

6

В начале карабахского конфликта на тех армян, которые решили уехать из Азербайджана подобру-поздорову, соседи смотрели как на паникеров и блаженных придурков. Как можно покидать навсегда, вы слышите, навсегда, Баку, а тем более Завокзальную?! Городской, кварталный и уличный патриотизм у всех бакинцев развит до неприличия.

Уже после сумгаитского погрома, летом 1988 года, в Баку случился очередной «виток конфронтации». Молодежь из еразов, которых начали выгонять из Армении, носилась по улицам. Я оказался у бабушки на Завокзальной. Стояла жара. Гетто готовилось к обороне. Сидевшим на скамейках у домов теткам было приказано запереться дома.

– Там, тетя Эмилия, азербайджанцы толпой идут. Закройтесь дома и приготовьте что-нибудь, чем отбиваться. Топор, например, или что-то такое... На всякий случай. Но они не пройдут. Мы им покажем!

Нам с бабушкой было любопытно поглядеть на толпу погромщиков, и мы постояли на лесенке, надеясь, что успеем закрыть двери вовремя. Особо смотреть было не на что. Мимо медленно проехал не новый «Жигуленок». Лысый, упитанный мужик размеренно прокричал в мегафон, высунувшись в окошко: «Армяне, соединяйтесь! Армяне, вооружайтесь»!

Мы решили дальше не испытывать судьбу и поспешили вооружиться, заперев двери. Стало тенисто.

Эмилия взвесила в руке внушительный кухонный тесак для разделки мяса.

– Пойдет?

Я утвердительно кивнул и нашел в ванной комнате палку, видно, запасной черенок для швабры, и дихлофос. Им бабушка травила редких черных тараканов, мух и муравьев. Им можно прыскать в рожу нападающим. Эффект от советской химии будет страшный. Глазки вытекут. Нос отвалится. В дополнение я достал из кухонного шкафа угрожающий старый нож.

Нам стало смешно даже тогда. А папа, который заехал за мной, с озадаченной улыбкой покачал головой. И закурил. Он увез меня домой. На всякий случай. Погрома тогда не случилось.

У нас в поселке тоже было беспокойно, и папаша, отъехав на работу, поручил мне следить за забором и за тем, чтобы калитка была заперта. Я воображал себя средневековым воином, дозорным на стенах крепости. На забор и на крышу теперь я мог влезать по вполне уважительным причинам. Было у меня и оружие. Дубинка внушительная, вытесанная мной самолично из весьма прочного корявого бревнышка, лук из прута гранатника с заостренными стрелами, кнут, весьма длинный его хвост я сделал из кабеля. Мы с пацанами кнутом сбивали бутылки, подражая ковбоям.

В ноябре того же 1988 года на площади Ленина в Баку, перед зданием Дома правительства, начался многодневный митинг. Даже не митинг, а супермитинг, собиравший сотни тысяч человек. Азербайджанцы любят все делать с комфортом, поэтому на площади появились мангалы, шашлык раздавали бесплатно, а желающим еще и наливали. На площади разбили и палатки, многие митингующие оставались тут же и ночевать.

Молодые люди с зелеными повязками на головах, парни и девушки, еразы, а иногда и бакинцы, скорее, выходцы из апшеронских сел и поселков, стали группками отпочковываться от площади Ленина и маршировать по городу. Вскидывая правую руку с зажатым кулаком, они кричали: «Смерть армянам! Смерть армянам»!

– Элла, не ходи на работу и завтра. И вообще, наверное, увольняться придется... Там на улицах толпы, и по предприятиям шарят. Армян ищут. Вот сейчас видел их, по улицам идут. Говорят, будет страшнее, чем в Сумгаите... – папа приехал домой гораздо раньше обычного, часа в четыре.

В один из тех дней Расул курил, выйдя из своего кабинета. Вдруг к нему подбежал Миша Мокроносов, запыхавшийся, красный как рак. Схватил за руку и выпятил и без того выпученные глаза. Из-за сбившегося дыхания толком что-то объяснять было трудно. Маленький, коренастый, плотный – он выглядел комично. Но смеяться было не время.

– Погнались... погнались за мной суки... ара суки э, – Мише не удастся толком перевести дух.

– Пошли быстрее, что стоишь.

– Куда? Расул, они меня убьют! Куда спрятаться? Куда бежать?!

– Ко мне в кабинет.

В кабинете Миша дрожащими руками держал стакан, пил воду.

– Расул, что делать? Убьют э гады. Зачем я на работу пришел только сегодня?!

– Тихо сиди как мышь, я тебя закрою, – сказал Расул и улыбнулся. Ситуация выглядела все же комично. И Миша выглядел комично. У Расула уже был опыт спасения фабричных армян, вчера еще он вывез одного мужика здорового, токаря.

Снова закурил, вышел и быстро закрыл кабинет. Снаружи собралась толпа из пары десятков «активистов» с зелеными повязками на головах, их окружили зеваки разной степени сочувствия. Зейнаб, бойкая, крепкая, молодая бабенка из простых работниц, подскочила к Расулу. Она, в прошлом безобидная и несерьезных нравов, стала лидером рабочей молодежи мебельного объединения, на территории которого располагалась папина автоколонна.

– Где эрмени⁵? Здесь армянин пробегал, ты его не видал? Вроде Миша зовут. Интересно, куда он мог убежать? – спросила она по-азербайджански у отца, озадаченно тараща глазами по сторонам и пытаясь придать лицу суровое выражение.

– Какого армянина? – Расул выпустил дым и улыбнулся.

– Ну армянин этот, Миша! Куда он мог отсюда сбежать? – вмешался еще один с повязкой.

– Вы кого имеете в виду? Мокроносова?

– Да, да, его самого.

– Мокроносов вообще-то русский, – Расул затянулся и улыбнулся еще раз. – Он не армянин, он русский – Мокроносов Михаил Владимирович.

– Нет, нет мы знаем, он армянин. Он за армян! Он по-армянски говорил и армян хвалил и сам говорил, что он армянин.

– Да у него самого жена армянка, – ткнула одна тетка в сторону Расула. – Он не азербайджанец, мать русская, а жена – армянка!

Папаша мой окинул собравшихся тяжелым, замедленным и проникновенным взглядом и веско выпустил дым.

– Ну и что, у кого-то душок⁶ есть лично выйти против него?! – насмешливо сказал азербайджанец Абульфаз, молодой «афганец», водитель.

Зейнаб, улыгнувшись, важно подняла руку, увлекая людей за собой.

У Миши отец русский, а мать армянка. Два брата записаны русскими, а он в шестнадцать лет при получении паспорта пожелал записаться армянином. Отец его такого позора Мише простить не мог и пять дней гонялся за ним, чтобы прибить. Но Миша был непреклонен, он желал быть армянином. Так и им и стал. В спорах отстаивал армянские интересы, как их понимал, любил с комичной важностью порассуждать о Великой Армении от моря до моря. Умело жонглировал армянским лексическим минимумом, но женился все же на русской.

Товарищ детства Расула Семен, по кличке Гямбул, с ящиком инструментов на автобусе возвращался домой, присев на ящик скромно, у последних сидений. Он зарабатывал на жизнь физическим трудом. Был мастером на все руки, что-то вроде маляра-сантехника-электрика. Семен – крепок, невысок, коренаст, волосат, походил на могучую гориллу с заgreбушими огромными ладонями. «Рука у Семика как совковая лопата», – шутил папаша мой.

До его остановки оставалось совсем немного. Выходил он на нашей маленькой площади, на которой помещались продмаг, булочная, киоск с прохладительными напитками и мороженым (моя любимая торговая точка), парикмахерская, уютно задрапированная виноградником, в которой армянин-парикмахер Рантик разрешал именитым клиентам курить, а с некоторыми и выпивал, и заведение со странным словом ИНДПОШИВ на вывеске. Эта площадь была освещена уличными фонарями, и на ней имелся важный для населения объект – телефонная будка.

И тут некий довольно молодой мужик стал Гямбула задирать. И апеллировать к другим пассажирам. Мол, армянин, армянин в автобусе! Семен по-азербайджански мягко попытался успокоить разбушевавшегося наглеца, поведение которого вызывало в автобусе сочувствие, но тот лишь распалялся. И когда автобус уже подъезжал к остановке Гямбула, тот от слов перешел к делу и толкнул армянина.

Семен залепил обидчику пятерней в лицо. Не кулаком заехал, а всего лишь пятерней прихлопнул. Но этого хватило, чтобы задира полетел через весь салон в сторону водителя. Азербайджанец возопил. Автобус на остановке остановился. Семена, которому еще топать минут десять до дома, окружила

галдящая орава, быстро увеличившаяся. С ним стали «качать права» в крайне неприятной для него манере.

Откуда ни возьмись, образовался заводила, мужик уже в годах, старше Гямбула, ераз, из новых репатриантов. Самое смешное заключалось в том, что этот ераз был женат на армянке, что весьма тщательно скрывал. Супруга, вывезенная из Армении, шпарила по-азербайджански и очень удачно мимикрировала. Мужик развел демагогию с размахом, несопоставимым с таким пустяком, как стычка в автобусе. После таких речей самым логичным действием было линчевать Семена, повесить на фонарном столбе. Но тогда у нас на такое не решились бы, не то еще было время.

На счастье Семена, отец мой Расул, проезжая мимо магазина за несколько минут до Семиного автобуса, увидел лезгина Манафа. Папаша кивнул ему, притормозил, вышел из машины. Они закурили, стали общаться. Обратили внимание на «кипиш» на остановке и лениво пошли поглядеть, из-за чего это еразы орут.

Надо же, Семен. Стоит бледный и растерянный, что-то мямлит. А как он «блатовал» в районе в былые годы?! Ужас до чего человека довела эта смута.

Увидев старого друга, в прошлом авторитетного забияку и хулигана, лезгины вступились за него. Включили свои уличные нахваты и «на словах вытащили еразов неправыми», ровно на столько времени, сколько нужно было для того, чтобы впихнуть Семика в машину. Манаф остался махать руками дальше, а Расул отвез Семена домой, благо, ехать пару минут.

Не говоря ничего жене Флоре, Гямбул рванул на кухню, достал заначку, налил слегка дрожащими ручищами полный граненый стакан водки. Мгновенно выпил и закусил соленым помидором, выудив его из здоровенной бочки. И пока папа курил и общался с Флорой, он рванул к калитке. Заблестевшие глаза навывкате горели жадной мести. Он намеревался еще позвать армян с улицы и устроить набег на еразов.

Товарищ и жена насилу Семена удержали. Тогда еще были армяне у нас в районе, и, возможно, кто-то бы и «подписался» на драку с еразами. Но сомнительно, конечно. Да и с кем драться? Все разошлись по домам.

Бесконечный митинг разогнал Комендант своими войсками. В сообщении комендатуры говорилось: площадь Ленина очищена от митингующих по санитарным соображениям, и в настоящее время солдаты и мусороуборочная техника производят работы по уборке и дезинфекции площади.

– Расул, уезжать из Баку надо армянам, и тебе, если с женой жить хочешь. Скоро все будет очень плохо, – убеждал папу на работе пожилой армянин, прокрававшийся в отдел кадров, чтобы оформить увольнение.

– Да ладно, Москва не допустит. Разогнали же их войска.

– Вот помяни мое слово, хуже будет. Что творится а... Мы, мои родственники, отдали пятнадцать девушек азербайджанцам по соседним селам в Карабахе, а взяли семь. Как нам быть теперь, что делать? Я из Баку уеду, мне не трудно. Что им делать? Этим смешанным семьями?! Представляешь, Расул, а детям? К какой нации они примкнут? Ара, Расул, совесть у них есть?! Что они делают, а?

7

Летом 1989 года мой дед Григорий, армянин, решил обменять свою квартиру на дом в Армении. В Баку, столице Азербайджанской ССР, с каждым днем иссякающим армянам жить становилось все опаснее и опаснее.

По-первобытному все просто. Идет межнациональный конфликт, и с двух сторон изгоняют людей соседнего враждебного племени со своей земли. Человек родился, вырос, живет в отчем доме или построил свой и еще дерево посадил, и все такое, а ему раз и объявляют, что он живет на чужой земле и его следует немедленно вышвырнуть. Сложнее другое – оба народа считают Нагорный Карабах своей землей, и тут войны не миновать.

Дед вылетел в Ереван, благо, авиасообщение еще было, а оттуда вертолетом в Кафан, или Капан, подыскивая себе вариант в Капанском и Мегринском районах. Это южная горная Армения, древняя область Сюник или Зангезур. Там много жило азербайджанцев. В отличие от Азербайджана, где в Баку, в столице, проживало до начала событий двести тысяч армян, в Армении азербайджанцы жили в основном на селе или в райцентрах. Дед, настроенный оптимистично, и, несмотря на очень сильную привязанность к Баку, твердо желающий обосноваться на исторической Родине, испытал неприятное потрясение, столкнувшись с тамошними бытовыми условиями.

– Где у вас ванная комната или баня? Как же вы купаетесь? – спросил дед у владельца дома, азерб-

байджанца.

Хозяин дома выдвинул из-под кровати огромный круглый жестяной таз.

- Нет у нас бани. Мы в кухне это ставим и поливаем себя из ковшика.
- А вода как?
- Нету водопровода, к роднику идем. Но провести вроде можно.
- А газ?
- Газ в баллонах покупаем для кухни. Топим дровами и углем.

О телефоне даже и спрашивать не стоит. Да уж, поубавится тут оптимизм от скорого переселения на историческую родину. Дед – инвалид войны, у него протезы на обеих ногах, тяжелые, из железа и грубой кожи. У бабушки ноги больные, она еле ходит. Они не старые еще, но в возрасте – деду шестьдесят шесть лет, бабушка на год младше. Места красивые: горы, зелень, прохлада, чистый воздух – не то что в Баку. Участки большие, сады роскошные. Но как тут выжить горожанам, да еще и инвалидам? Эх, знал бы дедушка, что его ждет, совершил бы обмен с легким сердцем. А так он колебался... Да и что-то там не срасталось по условиям, схемы тройного обмена вырисовывались, да и посоветоваться надо с женой, с детьми... В общем, уехал он ни с чем.

Вернулся домой, в свой район Завокзальная, за бакинским вокзалом.

К лету 1989 года уже блаженными считались несчастные армяне от беспомощности или вследствие помутнения рассудка, не спешащие покидать Баку-Везувий. Желание драться и оборонять свою улицу уже свидетельствовало о серьезной душевной болезни.

- Дядя Гриша, надо уезжать. Дальше будет только хуже!
- Советская власть этого не допустит... – говорил член партии Григорий и сам засуетился, но вот неохотно.

Бабушка Эмилия, его жена, тоже не разделяла панических настроений.

– Что нам сделают? Кому мы нужны? Кто нас тронет? А я вообще, честно говоря, не хочу уезжать из Баку. Как уеду? Как оставлю мой город?! Я здесь родилась, выросла, здесь мама похоронена. Как я дочь и внуков оставлю? Где моя дочка, там и я. Я в Армению не хочу. Там одна нация – армяне. Все там варятся между собой. А я люблю, когда много разных наций, не люблю националистов, – говорила Эмилия.

В отличие от деда Гриши к армянскому книжному патриотизму она была равнодушна.

Все меньше и меньше оставалось знакомых лиц на улицах, а еще совсем недавно редко можно было встретить чужого на Завокзальной. Уж в лицо-то все знали друг друга, примелькались. Среди прохожих чаще попадались соседи, родственники, дальние родственники, друзья, одноклассники, односельчане и их потомки. А тут вещи грузят, каждый день все больше и больше грузовиков, то у 15-го двора, то у 17-го, то у 11-го, бойко загружают разобранную мебель, телевизоры, посуду, всякий хозяйственный скраб, «интеллигенты» – книги в связках и картонных коробках. Заказывают железнодорожные контейнеры. Пожитки идут в южную Россию и в Армению, куда в основном их хозяева и переселяются. Исход армян из Баку.

Дед душным августовским вечером возвращался из гаража, оставив там машину. Было еще светло. Его гараж был у зоопарка, чтобы дойти до дома, ему нужно было спускаться вниз.

Идти Григорию от гаража до дома на протезах не меньше получаса. Остывает асфальт после жаркого дня, заляпанный черными пятнами осыпавшихся раздавленных ягод тута, шелковицы. Дед в раздумьях, как дальше жить? Он хромает, бредет не спеша, на протезах по-другому и не пойдешь. Закончил день раньше, «халтура» не особенно удалась, дед после выхода на пенсию «халтурил»⁷ на своем «Запорожце».

Машину Григорию выдало государство за почетную инвалидность. Вечерами у него была стабильная проверенная клиентура – официальные таксисты из расположенного неподалеку таксопарка, которых после окончания смены развозил по домам дед-конкурент. Это могло затянуться до ночи, а дед в последнее время предпочитал все же засветло возвращаться. У картонной фабрики, когда уже пройдено больше половины пути, возникли три пацана, азербайджанцы, на вид лет шестнадцати-семнадцати. Стали задирать. Толкнули, но дед удержался на ногах, вернее, на культях и протезах.

- Ребята, я инвалид войны, – сказал дед.
- Ну и что, ты же армянин! – ответили ему и сильно ударили кулаком в челюсть.

Он упал на колено, но все же смог удержаться и не упасть навзничь. Хорошо, парней отогнал какой-то мужик и помог деду встать. Григорию было очень обидно.

Жилье у деда было завидное по тем временам, центр. Однако летом 1989 года за него давали не

больше 10-12 тысяч советских рублей, тогда как «однушка» в приличном советском регионе стоила не меньше 20 тысяч. В сентябре уже предлагали 8-9 тысяч. Покупают квартиры на Завокзальной в основном еразы, вынужденные переселенцы из Армении.

Логично, что эти пришельцы заполнили именно армянские районы Баку, Завокзальную в первую очередь, и они стали самыми недружелюбными для оставшихся армян. Чем больше армян проживало раньше на улице, тем опаснее она стала для «могикан». А вот на улицах, где раньше компактно армяне и не жили, соседи соответственно не менялись, и существовать редким армянам среди старожилов-бакинцев было полегче.

Среди еразов есть разные люди. Некоторые довольно дружелюбно настроены к армянам, ностальгируют по покинутым местам, но большинство еле сдерживают ненависть и презрение, а некоторые и сдерживать не хотят. Эти последние считают, что движимое и недвижимое имущество армян принадлежит им по праву. Все остальные полагают, что предлагать надо как можно меньше, и время работает на них. Скоро армяне отдадут все за бесценок. Когда есть чем поживиться, да еще безнаказанно, необходимую для этого наглость, решительность и оборотистость всегда при желании можно в себе отыскать. Что интересно, в Азербайджане самые активные уличные националисты – пришельцы – еразы, а в Армении – местные армяне. Бакинские армяне в массе своей не желают мстить, да и дома и сады-огороды еразов этих горожан не особо привлекают. И в Армению, сказать по чести, многие из них не стремятся. А вот еразы стремятся в Азербайджан, и почти все хотят обрести новое пристанище именно в Баку или, на худой конец, поближе к столице.

Дед получил перелом челюсти в районе подбородка и щеки. Я в этом не специалист, но, думаю, все же не сильный перелом. Однако у него угрожающе распухло лицо, произошло воспаление, развился абсцесс, нагноение. Маме, которая приехала его проводить, он сказал, что попил холодной родниковой воды в Армении и поэтому воспалились десна. Элла, делая отцу какие-то примочки, в версию эту не поверила и через несколько дней все же добилась от него правды, которую дед рассказал со слезами обиды на лице. Мама невероятно встревожилась за своих родителей, всплакнула и очень настойчиво предложила поскорее покинуть Баку.

– Надо вам уезжать, лучше уже не будет, мама.

– Элла, я понимаю, но как я вас оставляю? Как я внуков не смогу видеть?

– Мы тоже уедем со временем. Но на Завокзальной жить нельзя, это опасно. На вас могут напасть, не дай бог! Не хочу пугать вас, но все что угодно можно от них ждать, от этой еразни. Надо искать варианты, маклеров привлечь. Понимаешь, под лежащий камень вода не течет. Шевелиться надо.

– Куда нам ехать?

– Ну, например, к Сусанне в Ростовскую область. Она же папина сестра. Вот хотя бы к ней вещи перевезем, мебель. У них же двор там большой. Контейнер закажем, Расул поможет с грузовиком. Но так же нельзя! Резину тянете, судьбу испытываете! Мама, папа, не дай бог, что-то с вами случится.

– Но нам еще надо квартиру твоего брата продать в микрорайоне. Там, ты знаешь, четырехкомнатная, за нее должны дать хорошо. Маклер обещал.

– В общем, всё, давайте упаковывать. Я вам помогу.

– Дузес асум⁸. Ты права, доченька, – подытожил дед.

Тетя Сусанна жила в Сумгаите. Когда случился погром, ей с мужем посчастливилось гостить у родственников в Баку. Два ее сына, старший лет двадцати восьми и младший, восемнадцати, прятались на чердаке родительской пятиэтажки, откуда насмотрелись ужасов, творившихся во дворе.

После погрома Сусанна взялась энергично искать возможности переселиться, ездила по городам России, подыскивала покупателей на свою квартиру.

В военкомате ее сыну, которого должны были забрать в осенний призыв, предложили пойти служить уже с нового места жительства, тем более гарантировать безопасности его на пути к части никто не мог. Он отверг отсрочку, сказал, что говорит по-азербайджански, и пошел служить из Сумгаита. Ему важно было именно перед своими сумгаитскими пацанами доказать, что он мужик и пошел как мужик в армию. Маленький коренастый крепыш, он учился на сварщика и занимался вольной борьбой.

Сразу после отъезда сына засобиравлась тетя Сусанна. Покупатель, по-народному вполне вежливый ераз, повел себя по правилам, дал и задаток, и заплатил, что обещал. Хотя умело сбил цену, пользуясь обстановкой. В Сумгаите армянам было неуютно до крайней степени. И семья тети Сусанны покидала этот хищный город, так сказать, в хвосте колонны.

– Когда мы собирались, вещи упаковывали, но еще жили, наш клиент⁹ зашел, что-то спросить, посмо-

треть... И попросил очень вежливо разрешения искупаться. Я сказала, конечно, купайся. И вот, когда он вышел с полотенцем на плече, я увидела его, и вдруг осознала, что мы уезжаем навсегда, что это больше не моя квартира. И слезы навернулись на глаза, я слезы сдержать не смогла, расплакалась, – рассказывала тетя Сусанна, которая считалась не особенно сентиментальной, бойкой женщиной, которая «за словом в карман не полезет».

В скором времени дедушка раздобыл большие картонные коробки, и бабушка споро начала упаковывать вещи. Мебель и все их имущество было решено перевезти к нам. Естественно, они тоже должны были перебраться к нам, как только упакуются. Тетя Аня, сорокачетырёхлетняя мамина сестра, которой в июне весьма настойчиво предложили уволиться по собственному желанию с трикотажной фабрики, где она простояла у станка более двадцати лет, уже жила у нас. Считалось, пожилым армянам существовать безопаснее, все же восточное уважение к старшим в Баку было развито. Мама уволилась еще в декабре 1988 года с Бакинского завода спецавтомобилей, она инженером там работала.

Однажды днем, когда деда не было дома, он отправился на встречу с «маклером», чтобы показать покупателю дядину квартиру, покупатели пришли к ним сами. Наивная и беспечная бабушка приняла суровые меры безопасности в связи со сложившейся ситуацией – закрыла на ключ стеклянные двери. Это смешно. Надо было запереть железную дверь, окна, уменьшить звук телевизора до минимума. А также задраить все шторы, соблюдать светомаскировку, как в далекие военные годы, когда все боялись, что немецкие самолеты прорвутся к Баку и подожгут нефтехранилища.

Задребезжали дверные стекла от бесцеремонного стука. Знаете, вот в резком, повелительном стуке в дверь или окно, особенно если стучат по стеклу, есть много тревожного. Даже если вы никого не опасаетесь, никого не боитесь на белом свете, а ждете товарища, который бегал за бутылкой и наверняка это он, все равно на какую-то долю секунды становится не по себе.

Бабушка через матовые стекла увидела в сенях двух мужчин лет сорока.

– Кто там? – спросила она, но дверь приоткрыла. Трудно, трудно все же жителям Завокзальной не открывать двери посторонним, хотя район считался криминальным в «мирное», как говорили бакинцы, время, до событий. Решетки на окнах и железные двери у бабушки и деда неспроста. Но одно дело квартирные кражи, драки и поножовщина, другое – наглое приставание к людям, особенно к старшим. Такого отродясь на Завокзальной не было. Поэтому бабушка и не привыкла соблюдать меры предосторожности.

– Квартира продается? – один из мужиков подтолкнул дверь, чтобы открыть ее шире.

– Нет-нет, не продается, – сказала бабушка.

– А зачем э не продаешь, ай эрмени. Мы хорошо дадим! Можно зайти? Зайдем, посмотрим да – и попытался войти, но Эмилия удержала дверь и оттолкнула входящего.

– Уходите, уходите! – сказала она раздраженно и громко, получив в ответ приглушенную бранную скороговорку.

Мужчины подрастеряли наглую решимость, но уходить не собирались. Один из мужиков, ухмыльнувшись, проворно просунул в закрывающуюся дверь ступню. Но бабушка с неожиданной для пожилой тетки силой и решительностью быстро потянула дверь на себя и резко двинула мужика по ноге. Наглец выдернул поспешно ногу, и бабушка быстро заперлась. Мужчины погалдели, по разу вдарили ногами по двери, но не сильно. Лишь еле заметная трещина пробежала по стеклу.

Все же это были не подонки, а по виду обычные простецкие мужики, скорее всего еразы, которые решили по дешевке прикупить жилье, а то и с обстановкой, предварительно чуток припугнув армян. В общем, «на понт взять», как говорили на Завокзальной, и не только. Но бабушка моя была жесткой и смелой женщиной, и в эти трудные дни в ней было много спокойного мужества и ироничного отношения к действительности. Дед же стал сдавать, все же удар в лицо сказывался. Дело не в физических страданиях и не в нравственном потрясении, которое переживает избитый «интеллигент». Григорий вырос на улице. В детстве и юности, в 30-е годы, когда с одеждой было плохо, он дрался, раздеваясь до черных широких трусов. Противники на дворовых поединках раздевались, чтобы не попортить одежду, и складывали ее со всей возможной аккуратностью. Даже после войны, будучи инвалидом, но молодым, он был задирист.

Для любого бакинца, тем более пожилого, которого по идее должны уважать младшие, получить по лицу, да еще и не проучить обидчиков – большая неприятность. Но не это главное. Просто дед понял, что государство и общество не могут и не хотят его защитить. Он беззащитен, с ним и его женой могут сделать все, что угодно, и даже убить. Даже если бы он не был инвалидом и смог бы дать сдачи, какая разница? В другой раз нападет больше людей или, например, ударят ножом. И это подрывало самооб-

ладание Григория, хотя с виду он пытался крепиться.

Бабушка упаковала все вещи в картонные коробки, мебель, какую могли, сами разобрали они с дедом. Расул, мой отец, помочь им не мог, ему было не до этого, смерть отца потрясла его и закружила в суете сопутствующих церемоний бакинских мусульманских похорон и поминок.

Уже начался октябрь, но деньки стояли теплые, ясные. Около пяти вечера, а все еще солнечно. Шторы и тюль в гостиной у бабушки задернуты, так тенисто и безопаснее, но одна створка окна открыта. У подоконника курит дед. Он курильщик не злостный, временами даже бросал, но тут как не курить? Раньше дед до зимы курил у приоткрытой входной стеклянной двери, сидя на табурете. Окно большое, зарешеченное, из-за толстых стен подоконник шириной в письменный стол.

Вдруг в окно влетает кусок железа. Дед вздрогнул и уклонился, но в любом случае железка его бы не задела. Он встал и поднял железяку. Кусок толстого арматурного прута, заточенный с одного конца, сантиметров 70-80 в длину. Дротик своеобразный. Силуэт сидящего, да еще курящего, человека на первом этаже за шторой разглядеть несложно. Сложнее точно швырнуть арматуру в ромбовидное отверстие решетки. Но цели прямо уж наверняка поразить армянина у каких-то неизвестных хулиганов, думаю, не было. А вот напугать, предупредить о скорой расправе так гораздо проще и приятнее, чем звонить по телефону с угрозами и кидать записочки в почтовые ящики. Бабушке и дедушке уже писали и звонили. Еще в прошлом году. И даже камень однажды ночью в окно кинули, разбив стекло на кухне.

«Дротик» оказался эффективен, бабушка и дедушка 7 октября, в День Конституции СССР, переехали к нам. Захватили с собой документы, деньги, облигации займов, нехитрое золотишко, пару царских золотых червонцев, постель и кое-что из одежды. Надо было больше брать, загрузить «Запорожец» под завязку.

– Нападение на нас сделали. Бросили в окно железку, хорошо, в деда Гришу не попали. Вот такую, – рассказала мне бабушка и показала руками, какого размера была железка. Она рассказывала про влетевшую арматуру эмоционально, как о волнующем происшествии, но улыбаясь, с некоторым даже юморком. Наверное, так бы взволнованно солдаты балагурили о залетевшем в окоп снаряде, радуясь, что никого не убило, и шуточками прикрывая свой недавний испуг.

Но настроение у них было подавленное. Да и квартиры не продавались. На «двушку» на Завокзальной покупатель все же нашелся, и 12 000 рублей он предлагал. Но время тянул, да и обидно было за такие деньги продавать. Когда как подружка бабушки, тетя Зарварт, продала свой полуподвал через дорогу за 14 000. Да и из-за родительской любви приоритетной для них была сделка с четырехкомнатной современной квартирой дяди в панельке в микрорайоне. А вот как раз там все срывалось. Квартиру сыну пробил Григорий, лет пять назад. Сорокаоднолетний дядя Беглар, названный в честь своего деда, еле ходящий инвалид с детства (последствие послевоенного полиомиелита), недавно уехал с молодой русской женой в Поволжье, на ее родину. Она из Инзы. Бабочка простая, с пацанчиком от первого брака. Ядовито-притягательная. От чернявого Беглара еще двойня белобрых мальчишек. Дядя укатил на своих «Жигулях» шестой модели с самодельным ручным управлением. Заниматься частным ремонтом машин в дедовском гараже у зоопарка было все сложнее и сложнее.

Поволжье ему хорошо знакомо было, туда он время от времени уезжал на заработки. У Беглара плохо ходили ноги, зато крепкими своими руками он мог многое: фотографировать и снимать кино на любительскую камеру, разбирать и собирать моторы машин, чинить телевизоры, а самое главное, шить красивую обувь, например, женские зимние сапоги с мехом. Вот этим бизнесом он нелегально и занимался в Самаре, правда, без особого успеха. С перестройкой малый бизнес можно было уже делать легально, поэтому дядя был сторонником Горбачева.

Мебель дядюшки гораздо худшего качества, чем у деда, изрядно поцарапанную детьми, и прочие вещи дед еще раньше успел загрузить в железнодорожный контейнер и отправить в Самару.

Расул нашел грузчиков и приехал помогать тестю. Обстановка во время погрузки была нездоровая. Дворовые отбросы косились на армянское нехитрое имущество, бросали на Григория недвусмысленные взгляды, полные наигранного превосходства и презрения, и бормотали вполголоса угрозы и проклятия. Этим дело не ограничилось. Следом раздался страшный звук разбиваемого стекла, и в одну из комнат влетел здоровенный булыжник. Потом еще пара камней в другие стекла.

– Расул, ты не оставляй меня тут одного, давайте сначала поеду, а потом уже ты, – попросил зятя дед.

– Да, да, дядя Гриша, заводите машину спокойно. Я стою здесь, – папа достал сигарету и, окидывая двор суровым и тяжелым взглядом, веско закурил. «Запорожец» надо прогреть, «раскочегарить», трогается он медленно. Так сразу и не рванешь с места на бешеной скорости.

Через день, после переезда к нам, 9 октября, дед забеспокоился. Не сиделось ему на месте.

– Поеду, проведу нашу квартиру, – сказал он и утром отправился на Завокзальную.

Припарковав машину, уже понял, что случилось то, чего он опасался. Решетка на окне в комнату была сорвана. Вскоре дед, подскочивший настолько резво, насколько позволяли протезы, к входной бесстыдно распахнутой двойной железной двери, убедился, что у них побывали грабители. Грабители, это мягко сказано. Да и не было отродясь таких наглых грабителей. Мародеры попались настырные. Вынесли все, что можно было. Унитаз и умывальник разбили, видно, не смогли отковырять. А вот мойку унесли. Хотели и газовую плиту, и даже сдвинули ее с места, развернули, но вот, видимо, лень стало отсоединять. Или побоялись газа, или газового ключа не захватили. Вырезали телефонный аппарат, дотянулись до потолков и вырвали люстры, сорвали занавески. Не говоря уже обо всем остальном упакованном имуществе. Очень удобно, все аккуратно сложено в коробки. Только запасной протез Григория издевательски поставили в центре спальни.

По всему видно было, что действовала не шайка осторожных профессионалов, а простые люди, которые уносили все подряд и ничего не боялись. Никакой милиции.

8

На следующий день, попросив Тельмана поторгать в киоске за меня, поехал в центр. На Чапаева нашел телефонную будку, на мое счастье, работающую, и позвонил Лиде.

Я не особо надеялся, что она выйдет, и мне не хотелось, чтобы трубку брал кто-то еще, кроме нее. Я так уже и приготовился сказать: «Здравствуйте, а Лиду можно к телефону?». Поэтому когда она взяла трубку, даже слегка растерялся. Я не умел толком разговаривать по телефону, не привык, телефона у нас дома не было. Вот у бабушки в центре был телефон, номер 66-67-60.

– Привет... Я вот тут... Как дела? Погода хорошая, – мямлил я и выпалил: – Может, погуляем?

– Да. Только подожди. Мне надо собраться. Я быстро!

– Жду у твоего подъезда. Буду через 10 минут.

Каким-то скоростным, проницательным чертиком добежал до ее двора. Запыхался, боялся опоздать. Ужасно, если она выйдет, а меня еще нет. Меня тронуло это: «Я быстро!» Хотя ждать пришлось не меньше минут сорока. Погуляли по окрестностям, дошли до детского железнодорожного парка, который, конечно же, не работал.

Я рассказывал ей всякие истории, и даже пару раз рассмешил, хотя она явно скупая на эмоции девушка, как мне показалось. К тому же, хоть держится она, на первый взгляд, весьма уверенно, видно, что скована, заметно стесняется.

– У вас тут зоопарк рядом, помню, как был там на весенних каникулах в пятом классе. Я там один был, один посетитель, незадолго до открытия. Мой дядя дружил с какими-то мужиками, которые работали в зоопарке, он с ними сидел, а я смотрел животных. Это очень странно и прикольно, когда ты один в зоопарке.

– Я всего один раз была в зоопарке и то давно.

– Интересно, а сейчас зоопарк работает? Не съели ли всех животных?

Лиде на меня быстро глянула недоуменно и вопросительно.

– А что. Мне говорили, что из них делали шашлык. Из джейранов и антилоп. Сотрудники зоопарка, и еще мясо в соседнюю шашлычную сдавали, там как раз рядом шашлычная, очень популярная. А сейчас время такое, что запросто могут и всех съесть... А льву мяса не додают.

– Какую-то ты фигню говоришь...

– Тогда лучше расскажу, как я гладил льва.

– Врешь, наверное?

– Нет. Правда, не льва, а львенка. Было мне года четыре. Его дядя привез, он дружил с ветеринаром из зоопарка. Львенок болел и умер бы, а ветеринар сделал ему операцию на черепе и дома держал, выхаживал. Потом соседи пожаловались, он его и выгуливал, а львенок подрос... Пришлось снова вернуть в зоопарк. Так вот они с дядей к бабушке его привезли, чтобы мне показать. Помню, он был с большую собаку, ну, как моя овчарка... Желтую шкуру помню и как я в нее вцепился, наверное, хотел оседлать его.

– А ты не забоялся?

– Нет, я обрадовался. Львенок вот рычал недовольно. И тут мама решила покормить его, открыла холодильник и решила вытащить сырое мясо. А он как зарычал и рванул к холодильнику! Мама сразу же оказалась на столе. Представляешь, стоит на полу, а через секунду уже на столе. Как убыстренная съемка.

– Хи-хи. Смешно...

Через день я снова встретился с Лидой. Потом еще и еще раз.

- Он сказал, что тебе ноги оторвет, – сказала Лида, когда я ее провожал домой. Уже смеркалось.
- Ну он же видел нас вдвоем, и почему-то я еще с ногами.
- Тебе лишь бы шутить. А он, между прочим, одного у нас в школе избил, говорят, челюсть сломал.

Он классно дерется, говорят мальчики.

– Не, ну, правда, ноги при мне. Если он такой борзый, что тогда не подошел? Он же видел нас. А кто он такой?

- В нашей школе в 11-м классе учится и живет в моем дворе.
- Мой ровесник, получается...
- Он сказал, что ему уже восемнадцать.
- Что, второгодник?
- Он сказал, что учиться ему незачем и сразу после школы пойдет работать в милицию.
- Вот дурачок. Как его зовут?
- Васи́ф.
- Откуда он вообще взялся?
- Он из Набережных Челнов.
- Из Набережных Челнов? И что?
- Ничего.

Она молчит.

– Ну что ты молчишь? Может, я чего-то не понимаю? Может, он вообще тебе нравится, а я третий лишний? А ты со мной встречаешься, чтобы его позлить?

– Не кричи на меня. Я сейчас уйду, мне домой надо. И вообще, отстань, – говорит она скорее с обидой, чем с раздражением.

– Ладно, ладно, Лидочка, извини, извини, пожалуйста.

Мне стало жалко ее и страшно, что она и вправду уйдет, да еще и навсегда. Хотя мы и так шли к ее дому, но если она ушла бы резко, я был бы сильно расстроен и, пренебрегая уличными понятиями о мужской гордости, надоедал бы робкими звонками и с учащенным сердцебиением караулил у подъезда.

Лида смешно надула губы. Но при всем этом меня не покидало ощущение, что ей все-таки чем-то нравится вся эта ситуация. Шутка ли, из-за нее готовы серьезно подраться парни. Даже самую добрую и хорошую, и скромную взволнует такое приключение.

- Слушай, он к тебе пристает?
- Давай не будем больше об этом... Сменим тему...
- Нет, скажи!

– Да он урод моральный, как моя мама говорит. Он мне всякие гадости предлагает, за руки хватает, выслеживает... Он с осени в нашем классе. Такой дурак! Говорит, что хочет, чтобы я была его девушкой. Только обещай мне не связываться с ним.

- Не обещаю. Вот гад. Какое вообще он право имеет к тебе клеиться, да еще так нагло. Кто он такой?
- Я пожалела, что рассказала тебе все это. Я тебе как другу сказала!
- А я тебе не друг!
- А кто ты?
- А я тебя люблю.

Лида всю дорогу молчит, но время от времени смотрит на меня. Не то что смотрит, а так осторожно и насмешливо поглядывает. Я потом нес какую-то ерунду о своей семье, друге Тельмане, собаке и коте, которые вечно враждуют. Мне приятно, что она все же смотрит на меня и улыбается к тому же. Не прямо вглядывается глаза в глаза, а просто скользит взглядом, но и это очень трогательно для меня. Раньше она не смотрела на меня, смотрела всегда куда-то в сторону.

– Знаешь, они, Рекс и Кеша, постоянно враждуют. Когда Рекс появился, коту был уже год. Щенок пытался подружиться с ним, но сразу же получил по носу. Ну, Рекс подрос и теперь котов всех ненавидит. Он даже понимает слово «коты». Как услышит, так сразу уши наострит и начинает метаться. Недавно они на кухне у нас схватились. Кот отдыхал, как он любит, дверь входная была открыта. Рекс, видно, его учуял и прокрался домой, чтобы захватить его врасплох.

– Хм...

– Что тут началось, ужас. Кот вскочил, шерсть дыбом, когти выпустил и мгновенно запрыгнул на шкаф, а Рекс – большой он, как встанет во весь рост на задние лапы и тянется пастью. Кеша давай

визжать, носиться, опалил шерсть на газе, прыгнул на холодильник, оттуда умудрился пару раз все же ударить пса по носу до крови. Потом прыгнул на люстру, визжал и шипел, а Рекс все прыгал, пытаясь его стащить... И не лаял, а так, молча и упрямо...

– А ты где был?

– Когда я вбежал, Кеша уже протискивался в вентилятор, дико мяукая. У нас в окно на кухне вделан маленький вентилятор, он не работал, и кот между лопастями пытался пролезть. А собака его зубами за хвост... гы-гы-гы...

– Ужас... – она смотрит на меня. С недоумением.

– Нет, я, конечно, сразу разнял. Дал по заднице Рексу, он такой погром устроил на кухне! Правда, в другой раз он помог Кеше.

– Это как?

– Однажды докопался до Кеши рыжий кот. Здоровый такой, задиристый. Подлец, в общем, он у нас в округе обижал всех кошек. И зажал нашего в угол и лапами. Кеша отбивался, но куда ему сладить. В общем, серьезно бы его побил. У нас кошки серьезно дерутся, до крови могут разодрать. Я в окно увидал, это у нас на заднем дворе в тупичке под окном кухни. Я только хотел прогнать наглого рыжего кота, но Рекс меня опередил. Мягко так, по своему обыкновению подкрался. А Кеша его учуял, опытный же, и в ту секунду, когда рыжий только почувствовал неладное – Кеша был уже на крыше. Рекс прыгнул и ухватил рыжего за спину. Тот все же успел по носу псу заехать, поцарапать до крови. Ну, как всегда, клюв страдает у Рекса. Но эта мелочь только раззадорила мою собачку. Рекс, не выпуская кота из пасти, стал методично бить его о стену. Знаешь, как будто даже без всякой злобы, методично и спокойно, ударит и ждет, тот орет, лапами бьет воздух, и через некоторое время его снова о стену. А Кеша наблюдает за своим врагом с крыши, – и я хихикнул.

– Не смешно.

– Ну, быстро подбежал, разжал с трудом пасть, и потрепанный рыжий с вздыбившейся шерстью в секунду взлетел на крышу. А потом чистил пасть Рексу, там клочок рыжих волос застрял.

Мы встретились еще пару раз. Ходили в кино, на «Крепкий Орешек», и еще какой-то французский фильм. В не очень опрятных залах, пропитанных запахами пыли, нечищенной мебели, не выбитых ковровых дорожек, жареных семечек и украдкой выкуренных сигарет на заднем ряду, я ее весьма осторожно обнимал.

Было воскресенье, народу полно, не уединишься. Ели мороженое на бульваре, она смотрела на море, а я смотрел на нее. Выражаясь претенциозно, солнце искрилось в ее волосах. Хотя и в будние дни на Бульваре было много народу. Во времена генсека Андропова, я из обрывков разговоров взрослых узнал, что милиция приставала к празднующимся в рабочее время. Интересовалась, почему не на работе, а в кафе или в кино.

А потом времена невообразимо изменились, и многие пошли бы на работу, да где ее взять?! Кучками разгуливает молодежь из беженцев, и не только молодежь. Выглядят не обтесавшиеся в большом городе выходцы из сел диковато. Для них Баку – город-сказка, он еще удивляет этих по-крестьянски рациональных людей. Даже умный Тельман только по приезду из своей Армении катался бесцельно с братом на метро. А что с этих фланирующих взять?

На улицах как всегда в последнее время полно молодых солдат в камуфляже и бородачей постарше. Бородатые вояки обычно опытные, идейные бойцы, добровольцы, часто активисты Народного фронта. Многие из них не имеют личных мотивов, не мстят за родных, не изгнаны из своих домов, а просто идут сражаться с армянами по зову сердца.

Бородачи любят выглядеть строгими аскетами и ярыми патриотами. Борода – это неперменный style кавказских войн. Бывшие советские офицеры и милиционеры, по привычке, по возможности, бреются, носят только усы, а вся когорта ополченцев понтуется бородами по обе стороны фронта. Для армян их красиво растущие, густейшие бороды издревле знак траура, отрешенности от мира и борьбы до победного конца. В этом им стали подражать и азербайджанцы.

Суровые бородачи крайне недобро настроены к тем, кто родину не защищает от армян, и к тем, кто по-русски говорит, особенно их раздражают, когда громко говорят по-русски и смеются. Сами русские притихли, но по-русски говорит вся бакинская городская молодежь, а молодым людям свойственно громко говорить и громко смеяться, и русский язык обрел серьезного защитника.

– Видишь лужи? Это море поднялось...

– Да, я тоже слышала, говорят, скоро зальет весь Бульвар.

– Не думаю... Я читал, что время от времени уровень Каспия то опускается, то поднимается, – сообщил солидно.

На следующий день, в понедельник, через неделю после нашей первой прогулки, я встречал ее после школы. День был яркий и солнечный.

– Надо зайти оставить дома сумку, – сказала она мне.

– Чаем угостишь? – выдохнул деланно бодро и непринужденно, набравшись наглости.

Она неопределенно кивнула. Я, стараясь не показывать своего волнения, вошел в подъезд, вдохнул спертый воздух. Она жила на первом этаже.

В прихожей набросился на Лиду. Крепко обнял и покрывал поцелуями лицо и волосы, стараясь красиво, как в кино, впиваться в губы. Мы целовались долго, потом присели на потертый советский диван, я расстегнул белую блузку. Но, впрочем, на этом все и закончилось, Лида в какой-то момент резко встрепнулась, оттолкнула меня и выскользнула.

Сидя на работе в своем киоске, я думал о Лиде. То мечтал о ней, то ревновал, то обреченно думал, что ей разонравлюсь или уже разонравился, то клокочущая неумная радость, а то тревога истомляли меня. Глагол «разлюбят» даже не приходил на ум. Кто я такой, чтобы меня по-настоящему она любила? Много курил и даже забывал покупать свой дежурный кутаб или чурек. Даже чаек из термоса не лез, который я попивал из пластиковой кружки, она же крышка. Чай из термоса мне нравился, с каким-то особенным вкусом, дешевое удовольствие. Вероятно, оттого, что настаивается долго, а я люблю крепкий чай.

Мы встречались каждый день. Если мне не удавалось уговорить Тельмана посидеть за меня в будке, я приезжал к ней после работы, и она выскакивала ко мне минут на двадцать, на полчаса. Когда я был без нее, мне казалось, что я видел ее среди прохожих, в транспорте. И даже тревожился, как она тут, в этой не подходящей для нее толпе усачей. На какую-то долю секунды удивлялся и хотел подбежать. И так же быстро осознавал, что это не она.

9

– Иди сюда, сучок! – кто-то нагло окликнул меня по-русски. Уже стемнело, я только что проводил Лиду до подъезда.

– Эй, трус, стой! – судя по голосам, крикун и нахал явно не один.

Я ускорился, перешел дорогу и пошел в сторону картонной фабрики, решив сменить обычный маршрут. Не пускаться же наутек.

– Мне вообще-то домой надо... – послышалось из-за спины.

– Чо зассал? Ну иди, тебе мамочка уже согрела молочко. Горячего молока и спать, гыгы.

– Я не пью молоко.

– Ты как девчонка, сидишь по вечерам дома.

– А ты что, не дома по вечерам?

– Я до ночи мафон гоняю.

Хулиганы какие-то, может, отстанут, думал я, но шаги позади меня только участились, угрожающие мне ботинки зашаркали суетливо. И вот хлопнули грубо по плечу, тяжело дыша. Догнали. Дернул за куртку какой-то чувак. Я обернулся, выдернув рукав.

– Стоять, сука! Тебя предупреждали, урод?

Тут я понял, что это был мой, так сказать, соперник. Убегать в таком случае точно смысла не было. Тут дело чести, тут не до благоразумия, обреченно подумал я.

Чернявый крепыш, видно, здоровенный, спортивный, с аккуратными усиками не по возрасту. По-русски говорит без бакинского говорка. Он и вправду не один, чуть поодаль трутся еще два товарища. Мне кажется, они ухмыляются, бакинские парни всегда стараются с юмором подходить ко всему. А этот не улыбается ни хрена, глаза злые, лицо толком не разглядишь, но то, что злое – факт.

– Не хами. Че надо? – пытаюсь говорить спокойно, хотя сердце скачет и проваливается, как на экзамене. «Вот проблема на мою голову. Нет, чтобы жить спокойно», – проносится в голове.

– Чтобы я тебя здесь больше не видел, сука бля. Чмо болотное. Убери свои руки и мысли от моей девушки!

– Слушай, друг, я тебя не знаю, что ты пристал?

– Тамбовский волк тебе друг.

– Эй ты, че, а?

Меня стало слегка колотить, такая, знаете ли, внутренняя дрожь, так бывает перед опасной ссорой.

Происходит от смеси страха, раздражения и отчаянного бешенства.

В разных пропорциях, зависит от ситуации и противника. Главное, чтоб эта дрожь никак не вылезала наружу.

– Хочешь трахнуть мою девку?! – и не напирает, как в Баку любят, а спокойно так стоит, расставив ноги. Руки в карманах. Серьезный тип.

– Ага, как ты рассказывал, Вася, как эти русские, напоишь чуть-чуть, и она твоя, гыгы, – подхалим поддакивает сзади него.

– Эй, за базаром следи, – чуть толкаю Васифа рукой.

В ответ тот резко и ловко зарядил мне кулаком в скулу. Хы! Второй контрольный удар пришелся по губам. Я качнулся и отпрянул, удержался на ногах. Скула немеет, как после укола в зубном кабинете, губы в крови.

– Ну что, хватит тебе?! – торжествующе выдавливают Васиф. Фраза чуть искажается сбившимся дыханием.

У моего врага лицо решительное, самодовольное, улыбается злой улыбкой. Парни еще активнее ухмыляются. «Все, обосрался, трус. И как с такими бабы гуляют?!»

Трудно вспомнить, как у меня стрельнуло в голове отойти на шаг и достать ножик. Да еще почти спокойно и даже не спеша, деловито раскрыть. Васиф, к его чести, совершенно не испугался и быстренько извлек из своей куртки железный прут. Судя по всему, арматура, к тому же заточенная. Прут не толще сантиметра. Черт знает, где он его там прятал.

– Бля!

– Бля!

Накинулись друг на друга. Я был намерен, если в такой горячке способны вызревать намерения, слегка порезать или уколоть противника в руку или ногу. Небольшое кровопускание как раз помогает от такого зашкаливающего наглого самодовольства. Васиф себя никак не ограничивал, крутил и вертел прутом во всю прыть.

Скользили на мокром, грязном асфальте, Васиф мне больно дал по пальцам, потом по голове своей железкой зацепил. Ух, больно! Я отскакиваю, вытираю кровь с глаза. Мой противник пытается арматурой действовать профессионально, во всяком случае, сам себе он, видно, нравится, кажется отличным бойцом. И вдобавок к «пике» пытается ногами меня достать.

Я, инстинктивно нагнувшись, чтобы сберечь голову, метнулся на сближение, изловчился и резко ударил врага ножом в ляжку, и потом сразу же еще разок, и отскочил. Васиф заорал, выронил арматуру, ладонью зажимает проколотые места, согнулся весь. Я налетел, не теряя времени, ногами беспорядочно пытаюсь бить по его ногам, злорадно надеюсь по ране попасть, и руками, локтем правой, не выпуская ножа, бью гада по шее, и левой, еще кулаком куда-то добавляю. Надо было за волосы и коленом в морду, как в кино. Но я так и не умел красиво, да и не догадался даже. Считанные секунды. Нас растаскали, надо отдать должное секундантам побежденного, разняли честно. Не стали накидываться на меня сзади, но и не трусили, не испугались окровавленного ножа.

Стою напротив них, дыхание скачет, лицо заливают кровь вперемешку с дождевой водой. Нож в руке. Дождик пошел. Васиф все скулит, озадаченно прикасаясь к ране ладонью, и поругивается. Один из его товарищей, нагнувшись, зажимает его раны платком. Хорошие бакинские мамы всегда подают с утра сыновьям и мужьям выглаженный клетчатый носовой платок.

– Эй, ребята, хватит да, хватит! – кричит он просительно. – Вы что, совсем звери?! Все, все квиты, сейчас люди э выйдут, ментов позовут, вы что... Кровяны э сколько, у тебя вся башка в крови. Эльшад, скажи ему да... Ты убери ножик! Вали, вали домой!

– Пусть к Лиде не пристаёт, – еле выдавливаю я, дыша, как загнанный пес.

– Не будет, не будет, только отвали отсюда по-быстрому. Все, все, претензий нету никаких. Замяли! – вмешивается Эльшад.

– Еще раз пристанет – убью! – вырывается у меня неожиданно и сдавленно. Фраза, которая должна звучать внушительно и угрожающе, смешно искажается невпопад разбросанными интонациями.

– Сука ты бля, козел. Урод нах. Тебе конец, – подает голос Васиф, но накинуться уже не решается. Еще бы.

Как можно скорее смываюсь, пока никто не нагрязнул, мы же так на шумели. Ножик складываю и в карман. «Как я его все же не потерял, и не выбили, молодец я», – скачет в голове.

Идет дождик, и темно, в бессмысленных и тусклых отблесках фонарей я крадусь, стараясь идти бы-

стрее, но не бежать, на ходу стираю шарфом кровь со лба. А бежать и трудно было бы, дыхание и так скачет, от страха, потрясения от содеянного. Все-таки в первый раз ножом ударил человека. Пульсирует и ноет голова. Спускаюсь вниз к улице Чапаева, к трамвайным линиям. Остановился, чтобы проверить на всякий случай, на месте ли заначка в нагрудном внутреннем кармане – надо поймать такси.

«Ох ты, бля, да там все мокрое... Вспотел сильно или дождь проник под куртку? Да какой там дождь, ладонь липкая», – пронеслось в мыслях.

Прохожих нет. Смотрю с удивлением на свою ладонь. Как в кино, подстреленные чуваки перед тем, как рухнуть наземь. И, чтобы мало не показалось, заныло в районе ребер с левой стороны. Боль решила тактично повременить и появиться вслед за кровью, причем потихоньку наращивая темп. «Я могу ходить, и не упал, значит, смогу поймать такси. Проколол меня, сука», – панически стучит в голове.

Таксист, частник, пожилой мужик на старенькой «копейке» даже головой не качает, только ненавязчиво и озадаченно скользит глазами. Когда я сел в машину, он на минутку включил свет. «Но как хорошо, как офигительно, что он молча везет по адресу. И что он вообще меня взял, несмотря на то, что я окровавленный. Переживает за свои сиденья», – думал я. В нашем темном районе старался как можно беспечнее показывать дорогу, очень осторожно жестикулируя.

Рекс взрывается диким лаем.

– Заткнись, свои, свои! Фу!

Пес радостно прыгает на меня, но в следующее мгновение удивленно ведет носом.

– Что, кровь почуял? Отстань, иди отсюда, вали давай...

Мне становится легче на душе, пес своим оптимизмом поднимает настроение. К счастью, на нашей половине дома никого нет, папаша взял привычку приходить поздно. Ну жены нет, сын сам по себе, а с друзьями после работы можно посидеть в шашлычной. Выпьешь, и легче становится, не думаешь о разводе с женой и разлуке с дочкой.

Свитер залит кровью, от него надо избавиться без промедления, хоть и больно. Под свитером хорошая светлая рубашка, и на ней пятно крови выглядит особенно внушительно. Рубашку снять легче, тем более что все пуговицы выдраны. Отсутствие пуговиц на секунду меня удивляет.

Стараюсь ничего не запачкать кровищей. К глубокому облегчению рана не больше расковырянного прыща. Дырочка на коже, обнажившая пятнышко мяса на ребре. В радиусе сантиметров трех от ранки припухло.

Удар заточенной арматуриной Васифа пришелся на ребро, его смягчили куртка и свитер. «Вот сука! Ну надо же таким идиотом быть, метил в сердце, что ли?», – думал я, если кишащие мысли выразить в строгом порядке слов.

Кровь уже почти остановилась, стираю ее водкой, обнаруженной в буфете. Сначала протер руки, щиплет, Васиф несколько раз приложил по ним железкой. Ну это пустяки, царапинки. Чуть глотнул для спокойствия и бодрости. Маленькая рана, а ноет противно. По краям обрабатываю йодом, его, как и бинт с ватой, нашел в ящиках буфета в гостиной. Быстро прикладываю ватку с йодом прямо к ране. Жжет жестоко.

Теперь займемся головой. Почему-то страшно было за рану на ребрах. А, оказалось, на голове все серьезнее. И кровь течет. Смотрю в зеркало в ванной. Пугающе смущает, что маленькая такая образовалась дырочка в башке, ну прямо там, где волосы начинаются. Неужели до мозгов пробило? Нет, нет, не может такого быть. Как же ее лечить? Тут что-то посерьезнее йода надо найти.

Кровоточащую ссадину осторожно промыл и растолок таблетки стрептоцида. Надо затолкать этот порошок в дырку в голове. Эффективное лечение, и никаких следов как от зеленки или йода. Побольше порошка... Запихиваю белые крупички в лунку в черепе, прижимаю пальцем. Из лунки выползает извилистый кровоточащий след, но это ерунда, царапина. В общем, удалось заштукатурить, почти ничего не видно. Я даже успел замочить рубашку в холодной воде, надеясь все же отстирать. На ней, как и на свитере и куртке, аккуратная дырочка. Наклоняться неприятно, кружится голова, и подташнивает. И выступают капельки крови на лбу.

Мне становится тревожно, очень тревожно. Что я скажу домашним? Как объясню все это отцу? Начинают грызть страхи, сердце падает. «А вдруг Васиф сдохнет? Ну копыта откинёт, скажем, от потери крови, и меня посадят!» Потом приходит чувство вины. «Нельзя было этого делать! Драка – одно, а доставать нож – другое. Я повел себя подло. Это нехорошо, меня за это будут презирать».

Казался себе преступником, хулиганом, изгоем общества, и мысленно готовлюсь к тому, что меня арестуют уже наутро. От всех этих мыслей опять холодеют и потеют руки. Непредвиденно сильно захотелось

есть. Ага, именно есть. В желудке прямо дыра, не ел толком ничего сегодня. От водки чуть пульсирует в затылке. Сварил два яйца всмятку и всосал. На белом пластике стола скорлупа и капли крови.

Послышался скрип тормозов. Рекс гавкнул, но сразу же определил, что машина хозяйская, и замолчал.

– А что это у тебя за шрам на лбу?

– Да споткнулся и ударился головой о железку... это самое... короче...

– Аа, ну понятно. Будь осторожнее.

И тут еще зашла тетя Галя, вот надо же, время за полночь, а они тут расходились.

– Расул, у него в голове дырка! – сказала она, озадаченно приглядевшись.

А потом открылась и другая рана.

– Да тебя пырнули! В натуре пырнули! А если бы глубже или под ребро? – вскричал Расул и, озадаченно рассмотрев рану, покачал головой и затаился сигаретой. Он требует все рассказать по-хорошему.

– Ну подрался, ну и что?! Бывает... Что вы все пристали ко мне?!

Таким они меня еще не видали и решили отстать. Папа поорал на меня для проформы и пошел заводить машину. Расул был изрядно выпивший, пятница все же, но ему не раз случалось водить пьяным, что уж греха таить. Даже аккуратнее выходило.

Бодрый и приветливый дежурный хирург-азербайжанец заверил, что ничего страшного нет. Подцепив присохший комочек толченого стрептоцида, с улыбкой заявил, что я применил в общем правильное лечение, но надо нормально обработать рану и наложить пару-тройку швов. А вот царапину на ребрах можно и не зашивать. Достаточно просто обработать йодом. И надо еще укол против столбняка сделать. А то, что все лицо в мелких шрамах, разбиты губы, а ладони, кисти и локти в ссадинах и синяках, и правую руку не разогнуть – так это мелочи, не стоит врача этим загружать.

Лежал на столе и чувствовал, как ковыряются в голове, а потом сквозь кожу проходит нитка. Штоп-штоп, и кровяца ручейком и вся чистая, но предусмотрительно старая рубаша в пятнах. И голова в итоге как у стереотипного раненого в кино перевязана, и сквозь белую повязку проступает кровь.

Папаша хирурга отблагодарил щедро. Так принято в Баку, если ты человек нормальный.

Ночью спать никак невозможно, лежать – пытка, пытался ходить кругами, да не смог от слабости. Тошнит, и небольшой жар. Закроешь глаза, и красная точка убегает и манит в темноте, кажется, вслед за ней улетишь и ты во мрак. Повязка давит на голову, как тяжелый и тесный стальной шлем. Из комнаты отца, бывшей родительской спальни, доносится внушительный храп. Действие обезболивающего укола кончилось, голова ноет, и можно только сидеть, постанывать и слегка мерно раскачиваться. Шея почему-то страшно затекла.

Продолжение следует.



¹ Сокращение от словосочетания «ереванский азербайджанец». Жаргонное обозначение азербайджанцев, выходцев из Армении, распространившееся с началом карабахского конфликта.

² Останови машину, стой (азерб.)

³ Слово «муаллим» (учитель – азерб.) в советские времена отчасти неофициально еще и заменяло слово «бей» (господин – азерб.) Даже имело более высокий статус. Если вы прибавляете слово «муаллим» к имени человека, который не является вашим учителем в школе или преподавателем в институте, это означает ваше несомненное уважение к нему и то, что он стоит выше. Так обычно обращались к начальникам. Но к Газиеву такое обращение подходит и в прямом смысле, он кандидат физико-математических наук и в прошлой жизни институтский преподаватель (Прим. автора).

⁴ Севда – слово тюркское, очень редко употребляется в речи, скорее, литературное. Азербайджанцы для обозначения понятия «любовь» обычно употребляют арабское слово «махаббат». Есть и имя Махаббат. Зато любимая будет «севгилим», а «люблю» – «севирем».

⁵ Армянин, армянка – (азерб.)

⁶ Душок здесь от слова дух. На бакинском жаргоне тех лет «душковатый» или «с душком» – человек отчаянный, способный на бой.

⁷ В Баку так называли частный извоз.

⁸ Правильно говоришь – (арм., карабах. диалект).

⁹ В Баку покупателей недвижимости называли клиентами.

Ион ПРОКА

Перевод с румынского языка Петру Ротару

Родился 1 декабря 1945 года в с. Колоница Вадулуйводского района. Служил в армии в г. Горький (Нижний Новгород). Окончил факультет журналистики КГУ. Член Союза писателей Республики Молдова. Работает редактором в агентстве «MOLDPRES». Награжден «Ordinul de Onoare».

Сосланные

1

Облака, мучительно свиваясь в кучу к грозе целых три дня, так и не проронили на землю ни одной маломальской слезинки, отчего на душе томительнее прежнего скребли кошки и становилось подъявольски больно и пасмурно. Потресканная от зноя земля все больше и больше становилась похожа на старческое изуродованное несчастьем, бездыханное тело. Сгустившиеся над селом необузданные облака были подобны гонимой ветром стае слепых кротов.

Собаки выли как перед Ноевым потопом. Домашние животные, изнывая от жары, не могли найти себе места. И только кузнечики по вечерам, невзирая на то страшное, что происходило вокруг, подобно ничтожным предателям, затягивали свою незатейливую бесконечную трескотню. Село стало похоже на замурованную в чернильнице муху.

Знаково и необъяснимо тревожно было и то, что внезапно произошло в дебрях Трифанского Гнезда. Земля вздыбилась заодно с черешневыми и ореховыми деревьями, поднимая под собой кусты боярышника, свалив, как подкошенную, траву вместе с ястребиным гнездом такого могучего силача, коим считается вяз.

Не под силу оказалось раскрыть суть происходящего и Фрэсине, жене Азимута, слышавшей непревзойденной местной гадалкой, несмотря на ее бесовские темные силы. Облаченная в свое вечно засаленное платье, которое она не снимала даже по праздникам, она обвязывала красными нитями болотных жаб, отсылая их ко дну озера, но те возвращались от лешего без каких-либо утешительных вестей относительно того, что день грядущий нам готовит.

– Чего, окаянные, против меня ополчились, – огрызалась она на односельчан. – Не видите, что это не по моей части? Я могу заворожить, отнять молоко у коровы, заговаривать или отговаривать замужество, лечить черную болезнь, сучьи болячки, но тайна происходящего мне не доступна. И отошли прочь от моего порога, так как в этом аду сам черт свернет себе шею, а свинья – рыло. Давайте, давайте, дуйте отсюда!

Когда всем стало ясно, что небу так и не разрядиться, темной ночью по потайным тропинкам к селу пробрался гроза всей округи Горе Бодя, ворюга-стервятник из Хыртопского леса. Он подкрался к дому Серафима Якобана. Осторожно, по-воровски постучался в окошко, что выходило к лесу. В гробовой тишине гулко отдались поскребыши по стеклу, которые пронизывали холодными встрясками дико воющее сердце вора. Но изнутри – ни малейшего шороха.

– Наверное, пьян, старый лис, – подумал про себя «лесной брат». Он только-только собрался повторить свой стук по стеклу, успев сомкнуть пальцы рук, как откуда-то сверху кто-то свалился ему на голову, обхватив сзади в крепких, жестких объятьях.

Наверное, тот, что спрыгнул ему на спину из гущи елового дерева, которое росло напротив окна, и предположить не мог, с кем имеет дело, отчего на мгновение расслабил захват. Бодя только этого и надо было. Последовал молниеносный удар локтем ниже солнечного сплетения, и напавший на него мужчина, икнув, свалился с его плеч на землю, как nepотpeбный мешок с нечистотами.

Горе Бодя нагнулся над поверженным грозным противником, сильно потрянув его за плечо, чтобы проверить, не испустил ли тот дух. Лежащий у его ног труп не подавал никаких признаков жизни. Он

дотронулся до его лба рукой, лоб еще не успел похолодеть. Значит, живой. Очевидно, этот человек специально его поджидал. У бандита времени было в обрез. Прежде чем свалить себе на плечи бездыханное тело, чтобы увести в лес, он вывернул его карманы, из которых изъяс фонарик и маузер.

Бодя зашагал со своей добычей напрямик через огороды по направлению к лесу Фэники. Там он примет окончательное решение: замочить «лесника» или взять его в заложники, в зависимости от того, какую угрозу тот представляет для его банды.

Серафим Якобан, убедившись, что схватка тех двоих в его огороде завершилась, а дерущиеся канули в ночи, тотчас разбудил домочадцев, молча распорядившись, не теряя ни минуты времени, быстро собраться, так как Бодя может вернуться и тогда им несдобровать.

– Говорила я тебе, – причитала Нэтэлица, – чтобы ты не связывался ни с председателем сельсовета, ни с бандитами, так как мы живем на окраине села и лишить нас жизни – раз плюнуть.

– Не причитай! Даю тебе три минуты на сборы, – приказал Якобан, – и айда! Все к моей маме, а я пойду вслед за ними.

– Мой тебе совет, Якобан, не лезь на рожон. Как-нибудь и без тебя разберутся. Ты же не хочешь, чтобы нам спалили хату, как это случилось с другими в Котороаса, Извелиште и Коту-Вадулуй? Таких, как Бодя, много, и они все вооружены.

На что Якобан, почесав бороду, почти по-философски выговорил:

– Ходить или не ходить мне к бандитам, конец мне все равно обеспечен. Но больно уж хочется свидеться с глазу на глаз с этим Бодей. Он думает, что я сильно напугался его записке и готов был завалить его копченым салом и крынками жира. А не поцелует он меня в задницу, большего почтения я ему оказать не могу.

– Поцелует, поцелует, не беспокойся. Так как уж больно ты стал выпендриваться. Серафимаш, знаешь, что остановить тебя мне не под силу, да и не бабское это дело преграждать путь мужу. Но подумал ли ты о наших детишках? Пережили голодовку, войну, переживем и эти невзгоды, так как время мутное, но мутнее времени люди. Только ты сам себе не надевай петлю на шею, потому что, если споткнешься, никто за тебя не заступится.

– Если я пойду вслед за ними, то окажусь только с одним врагом, в противном случае, меня станут преследовать два врага. Ты этого желаешь?

– Муженек, дорогу, которую ты выбрал, осилит сильнейший.

– Да ну их к лешему. С ними мне не тягаться. Остаюсь.

2

– Ку-ку, ку-ку, ку-ку!

Ноша Боди пришла в себя: «Отчего вдруг запела кукушка посреди ночи?»

– Ку-ку! Кукушкина тень теперь звучит то слева, то справа, то наконец перед носом сваленной на землю ноши Боди. Послышались тяжелые шаги. Семеро мужчин окружают Бодю.

– С трофеем тебя, капитан!

– Еле ноги унес, братцы, Якобан, засранец, – предатель. А этот, которого притащил на себе, – большевик, вооружен и очень коварен. Я чуть-чуть ему не попался.

– Оно и видно, капитан, кто кому попался, – заискивающе отметил кто-то из «братьев».

И все рассмеялись хором, как будто услышали что-то необычно смешное.

– А ну-ка покажи свое рыло, – приказал Бодя, – смотри, какой хороший фонарик я у него достал, русский. «Братья» подошли гурьбой, внимательно рассматривая пленного.

– Может, кто из вас его признает? – спросил Бодя.

– А как же, капитан Горе! Это же шурик батюшки Бетуцэ, женат на Елизабет, так как ее первый муж сгинул на войне. А этот увернулся от фронта, якобы нечаянно прострелив себе правую руку, из-за чего потерял палец, так что даже не знаю, чем бы он нажал на курок пистолета, чтобы сразить вас, капитан. А другой, по кличке Зондикэ, напился каких-то травяных отваров и ослеп. Лучше пошел бы на войну. А так его водят под руку сельские мальчуганы и спускают ему штаны перед женщинами, чтобы посмеяться над беднягой.

– Хо, раскудахтался тут на всю катушку. Я не спрашиваю тебя про село, а кто такой и как его зовут. И покороче!

– Павел Туфэникэ его имя. Теперь он у новых хозяев вроде примара, то есть за место председателя сельсовета.

– Именно то, что нам требуется. Попался на крючок, как золотая рыбка. Обеспечьте ему надежную охрану, чтобы не сбежал, а то останемся с носом, как тот старик у разбитого корыта.

– Эге, капитан, вскоре по его следу придут ищейки. А это нам ни к чему! Лучше его кокнуть и с концами!

– Закрой свой рот, как был тупым, так и остался! И я, у которого за плечами почти законченный факультет, связался тут с вами. Не советоваться надо, а руководить вашим стадом тупых баранов!

– Воля ваша, капитан, – вымолвил Иримия Панаит.

Бодя чуточку подобрел и, чтобы доказать своим сорванцам свою ученость, приподнял с земли Туфэ-никэ и покатил его на пень. Он же, едва удерживаясь на нем, стал размахивать руками, чтобы удержать равновесие, здорово заехав Бодю по лицу.

Капитан, никак не отреагировав, деликатно приступил к допросу.

– Скажи-ка мне, любезный, что для тебя дороже? Жизнь или твоя советская власть? Если она так уж и сильно любя, то у тебя все шансы, конечно, не без нашей бескорыстной помощи, отправиться прямо к вратам рая.

Туфэникэ был нем. Главаря шайки это не очень-то раздражало. И тогда он обратился к Иримии Панаиту:

– Иримия, покличь суку, как она решит, так и будет.

Туфэникэ аж рот разинул от удивления, так как у них и собаки разговаривают.

По свисту Иримии ветки кустов раздвинулись в стороны, и на поляне появилась светловолосая женщина неземной красоты. Ее узкие плечи – в легкой кофточке, на поясе – кобура пистолета. Синие глаза по-детски невинны. Туфэникэ посмотрел на нее с надеждой о спасении, как будто увидел родную сестру.

«Эта вырвет меня из когтей бандитов», – подумал он про себя.

Только зря понадеялся. Достаточно было ей приоткрыть ротик, и ее милое личико сразу же превратилось в обличье раздраженного подстреленного зверя.

– Капитан, этот большевик достоин харакири. Тем более что он помечен богом.

– Где ты увидела метку?

– На руке.

– Так это он сам прострелил себе руку.

– Нет, капитан, он – исчадь ада. Если хочешь, послушай одну поучительную сказку, может, извлечешь из нее какую-то для себя выгоду.

– Только покороче, не растягивайся, как Иримия.

– Ты прекрасно знаешь, капитан, что нет места сказкам, поэтому я выложу тебе только ее суть. Жила-была женщина Илинка со своим мужем Ильей. Однажды женщина почувствовала, как ее охватывают родовые схватки. Подзывает она к себе мужа и просит его поскорее отвезти ее в соседнее село к матери. Село находилось неподалеку. Расстояние – примерно как до Мовилень, может, чуть больше.

Муж запрягает коней в телегу, и они отправляются в путь. Проехав половину пути, Илинка говорит мужу: «Обожди, Илие, нам не добраться. Оставь меня тут, возле этого стога сена и поезжай за мамой один. Может, продержусь до вашего возвращения». И осталась Илинка одна.

Одна она и родила. Родила красивого, крепкого мальчика с такими золотыми кудрями, что перед ними блекло даже небесное светило – могучее солнце. В это время к женщине подобралась предсказательница и говорит: «Красивого ребенка ты родила, имя ему – Илие, станет он избранником бога, но когда вырастет, убьет своих родителей». После этих слов от предсказательницы и след простыл. К тому времени вернулись муж со свекровью. Их радость была до небес. Но Илинка не смогла не рассказать им о том, что предрекла младенцу предсказательница. И тогда они решили положить ребенка в корзину из ивовых веток и выбросить его в реку, которая протекала поблизости. «К чему жить со смертью под одной крышей?» – подумали они, а детей мы еще нарожаем. Но жизнь распорядилась иначе. К старости, оставшись одинокими, детей у них больше не было, спустились они вниз по реке, от села к селу, спрашивая людей о том, не видели ли они двадцать лет назад корзину из ивовых веток с младенцем. В девятом по счету селе им сказали, что у них живет такой молодой человек, у которого померли родные, он женат, держит слугу, а вот детей у него нет, никак бог ему не пошлет.

Подшли старики к указанному дому. Но Илие дома не оказалось, поехал на охоту. Жена Илие накормила гостей, а на ночь постелила им в сарае на сеновале и, обеспокоенная тем, чтобы их не покусали комары, набросила на них покрывало.

В это время возвращается с охоты с полной сумкой добычи Илие, весело посвистывая. Повесил на

крючке добычу в сарае и направился в дом. Выходит ему навстречу слуга и говорит, что нечего ему искать в хате, так как его жена сейчас развлекается с чужим мужчиной на сеновале в сарае. Господи, какая ярость охватила Илие! Он схватил косу и разрубил с маху лежавших под покрывалом, после чего помыл руки и со спокойной совестью отправился спать. Тут встречает его жена. Он чуть с ума не сошел.

– Как, ты жива? Несколько минут назад я разрубил тебя и твоего любовника. Слуга сказала мне, что ты спишь с ним в сарае.

– Ты очумел! Слуга спит, а ты убил своих родителей, приехавших за тобой.

Теперь Илие понял, что тот, кого он встретил по возвращении домой, был не слуга, а исчадие ада.

Но делать было нечего, и Илие отправился к богу за советом.

Бог послушал его рассказ и спросил:

– Ну и что же ты намерен сейчас делать?

– Дай, бог, мне такую силу, чтобы я смог одолеть дьявола.

– Дам я тебе такую силу, да только запомни, что он не один, а тьма-тьмушая.

– Дай мне твое величие, и тогда ты посмотришь кто кого.

И бог дал ему молнию и раскат грома. Три дня подряд метал в дьявола молнии и гром Илие, положив их неслыханное множество. И испугался бог, что уж больно большой силой наделил он Илие. И тогда отобрал у него половину туловища. С того времени святой Илие пуще прежнего раскатывает по небесам свою огненную повозку, в ярости метая налево и направо миллионы стрел. Поэтому стоит остерегаться калек, людей без рук, без ног, то есть помеченных богом.

– Ты хочешь сказать, что Туфэникэ может причинить нам зло?

– Капитан, я тебе рассказала сказку. А ты сам извлеки для себя урок.

– Что предлагаешь?

– Мы не возьмем на себя грех, убив его, но мы наложим на него свою метку, чтобы он нас запомнил на всю оставшуюся жизнь. Мы его кастрируем и оставим без семени, пусть попомнит нас поповская дочь Елизабет. Раскалите на огне железный прут, а остальное оставьте мне. Кому как не мне знать, как с ним поступить.

Туфэникэ закипел от бессилия: «Откуда в этой божественной душеньке столько дьявольского остервенения. Кто ее так затравил? Нет, не верится мне, что она доведет до конца свое темное намерение». Лишь тогда, когда увидел раскаленный железный прут в руках женщины с волосами цвета спелых колосьев, которая приказала спустить ему штаны, он понял, что дела его совсем плохи. И вот она приближается, дотрагивается раскаленным прутком до его промежности. Свежее мясо потрескивается. Братва смакует ноздрями воздух, как будто на жаровне для них готовится смачный шашлык. Никто не смеет ей препятствовать. Посмеиваются, хохочут вовсю. Туфэникэ ждет снисхождения со стороны главаря шайки, но тот, жуя в зубах стебель подсохшей травы, смотрит на него с полным пренебрежением, в то время как «сука», упиваясь дикой радостью, пронизывает каленым железом живое мясо. До мошонки она еще не дотронулась, а ноги жертвы уже искорежила. Таким методом мужчины помечают имена лошадей на их крупах.

Туфэникэ не в силах больше терпеть. Спрашивает, что им от него нужно.

– Что нужно? – сардонически смеется Горе Бодя. – Хотим, чтобы ты стал нашим. Чтобы ты был нашим информатором. Знаешь, что это такое? Как узнаешь, что на нас планируется облава, идешь к деду Микандру, чабану, что пасет свою отару на возвышенности Могулдець, и говоришь ему поджечь кизяк, чтобы дым пошел. А также тебе предстоит снабжать нас жратвой. Не беспокойся, не обдерем. Много не потребуем. А для нашей госпожи постарайся достать что-то повкуснее: кусок масла, жареных цыплят, так как она уж очень привередливая к еде. Много это или мало? Сам посчитай, кабы не снести тебе головы. На кой черт сдался бы ты госпоже Елизабет кастрированный? Это тебя никак не устраивает. Да она тебя таковым и не примет. А теперь уходи, ты свободен. И запомни, что мы от тебя так попросту не отстанем. Из-под земли достанем.

Видя, что у нее уведут добычу, «сука» зарычала от ярости, готовая сорваться с цепи. Но с Горой Бодей шутить опасно. Горе Бодя еще больший тиран, чем она.

3

Оскудели лицом и телом жители Мовилень. Опухших сразу от голода уже нет в живых. Дожившие до зеленых щей из конского щавеля восхваляли всевышнего, к которому уже пропала нужда отправляться длинной чередой. Поповский отрок уже не торчал, растопырив ноги, на шелковице, которая росла у

ворот, дразня нас, как щенков, куском калача. Дьявол во плоти, этот поповский отрок Митикэ. Он вытаскивал калачи из рыл свиней и вместе с грязью бросал их в уличную пыль, смеясь, как помешанный. И насколько бы мы, пацаны, ни были голодны, никто не смел подбирать это добро с земли. Позже, когда мы пошли в школу, мы на нем отыгрались. Ничего не попишешь, пацаны, да и только. Говорят, что, добравшись до щей из конского щавеля, якобы дышит посвободней. Не тут-то было. Именно в это время на нас, обескровленных и обессиленных, со страшной силой навалился сыпной тиф. Немногочисленные сельские старожилы говорили, что в народе эту болезнь называют лихорадкой и что она в тридцать третьем унесла жизни почти половины населения села.

На этот раз болезни подбирать было почти нечего. Молодежь села уже давно породнилась с землей. Оставшаяся едва сводила концы с концами. И все-таки кому-то следовало продлить жизнь, поддержать огонек в печи, в лампадах, давно забывших, что такое растительное масло.

От сыпного тифа помер санитарный врач села. Новый доктор был послан проинспектировать положение дел сразу в трех селах, но, прослышав, что в Мовилень бесчинствует сыпной тиф, только его там и видели. Он верхом объезжал село, даже не оглядываясь.

Забытые всем миром и правдой. Господи, помоги подняться из пепла этому селу! Вот ведь вопрос: нарожаем мы им когда-нибудь детей, сыграем мы им еще свадьбы, возвратимся ли мы к светлой жизни, не сдохнем ли мы раньше времени скопом?

Господи, дай нам силы не сойти с ума, как это случилось с жителями Облониште. Не знаете, что произошло в Облониште? Люди дохли, как мухи, от чумы. Запрокидывали глаза и бездыханные валились с ног посреди дороги. Только и успевали их закапывать в общие могилы, засыпая сверху гашеной известью, чтобы предотвратить распространение эпидемии. К чему еще и сыпной тиф, ведь смерть и без того подкосила сотни сельчан. Но смерти этого казалось мало. Люди умирали и умирали. Только Кармела Здупару расцветала вовсю. Была румяной и краснощекой, как будто питалась одной халвой.

– Как так, цака (* уважительное обращение к старшей по возрасту) Кармела? – спрашивали ее те, чьи дни были сочтены. – Ты почему не блекнешь, как мы?

– Мне дядя прислал провиант из Канады, – хвастливо отвечала она.

– Поделись какой-нибудь консервой, век не забудем, будем служить тебе до самой смерти, только помоги выкарабкаться из этой напасти. На что она отвечала просящим как бы между прочим, что, мол, рада и поделиться, но осталось только несколько баночек для господина плутоньера (* молд. – звание, равнозначное старшине) Здупару, который вот-вот, не сегодня-завтра вернется с войны. И чем тогда она его встретит?

И вот однажды вечером, когда народ как будто бы преодолел голод и сыпной тиф вследствие визита в Молдову Алексея Николаевича Косыгина, который распорядился сполна снабдить край хлебом, именно в это время третий сын Кармелы мизинец Арманд прибежал испуганный и с окровавленной шеей к Кэтэлине Гаврилицэ. Лишенный дара речи от пережитого, он, взяв нож со стола, стал показывать знаками, что кто-то попытался перерезать ему горло.

Перекрестившись, Кэтэлина тотчас же выскочила на улицу, даже не закрыв за собой дверь, в поисках мужа, который приходился Кармеле двоюродным братом.

Он был занят в загоне для скота, где старая слабая овца издавала последние вздохи. Мужчину, вооруженный обрывком косы, пытался ее прикончить. Обессиленному от голода, бедному Антипу никак не удавалось пронзить ее, пока она еще не стала трупом.

– Антип, – встревоженно окликнула его жена, – ты тут возишься с этой дохлятиной, а твоя двоюродная сестра Кармела чуть не убила родного сына Арманда. Бедняжка прибежал к нам весь в крови. Пойди поскорее и посмотри, что стало с твоей родственницей.

– Опомнись, Кэтэлина. Ты что несешь? Кармела – жена представительного образованного человека, с какой стати она могла полезть на мальчика с ножом? Наверное, племянничек просто где-то поцарапался.

– Может, я и дура, плохо соображаю, но при своем уме. Немедля отправляйся к ней! Сейчас же!

– Если не прикончить овцу, то и мы все скоро подохнем.

– Сжался, дурья твоя башка, мне не до шуток!

Дед нащупал наконец горло овцы, и обрывок косы вышел окровавленный с клочьями шерсти на нем. Старая овца почти не сопротивлялась. Издавала еле слышимый вздох, как бы радуясь расставанию с жизнью.

Он развернул ее головой вниз, чтобы стекла кровь, но крови как будто не было. Очевидно, она застыла в жилах овцы прежде, чем ее застала коса.

Вытерев об засаленные штаны обрывок косы, он медленно зашагал к выходу, как бы уходил, возвра-

щаясь. Силы его были на исходе. Может, эта старая овца (хоть и была одни кожа да кости), заваренная с горсточкой пшеничной муки, подправит его походку.

Дом Кармелы стоял через улицу, и Антип добрался без каких-либо особых усилий. Встретив ее на пороге, Антип был поражен стеклянными глазами сошедшей с ума красивой и румяной Кармелы.

– Чего явился, тень земная, перекасти-поле, страшилище села, овечья какашка, кукурузная тлень, моль пшеницы, отвратительная улыбка, коли ты есть?

– Заткнись! Как ты себе позволяешь разговаривать со старым человеком, с твоим родственником?

– Говно собачье, вот ты кто для меня. Я на пороге своего дома, могу взять тебя за плечи, дать тебе пинок под зад и подмести тобой двор.

– Уймись, деваха, еще никто в нашем роду не распускал свой рот.

– Что, пожаловался на меня щенок? Он поздно вернулся. И я его упустила. Подумала, что раз такой немощный, то не упущу. И что с того, что не смогла удержать? Все равно сдохнет под забором, как вонючая собака. До сих пор объедался мясом своих двоих старших братьев. И ничего с ним не стало, а когда пробил его час, его повело.

– Ты чего мелешь, чокнутая? – закричал на нее нечеловеческим голосом Антип.

– А ты на меня не ори. Их не оживить. Я их съела, и все тут. Что я должна была сдохнуть с голода, как семья Теодоре Халупы? И если бы они умерли своей смертью, им что от этого было бы лучше?

– Господи, помилуй и защити! – помолился Антип, сказав ей. – Сгинь с глаз моих, бесово отродье!

Антип Гаврилицэ, ослабевший и голодный, побежал изо всех сил в сельсовет, чтобы известить о случившемся председателя Туфэникэ об ужасе, случившемся в Облониште, так как Туфэникэ был старшим на два села.

Его не было на месте, его увели куда-то бандиты еще накануне. И сейчас в сельсовете придремывал на стуле возле телефонного аппарата сторож. Он связался с районом, настоятельно прося прислать группу милиционеров для ареста детоубийцы Кармелы Здупару.

... Милиционеры приехали с опозданием. Кармелы в селе уже не было. Они нашли маленького Арманда у Антипа Гаврилицэ, но, попытавшись что-то разузнать у мальчика, тот прямо на их глазах лишился разума. Мальчик помешался, совсем сошел с ума.

– Из него уже человека не сделаешь, – произнес с болью Антип Гаврилицэ.

Старший милиционер из Рогожень Антон Канжя добавил: «Совсем плох. Жаль мальчишку».

Не улеглась еще пыль от шагов милиционеров, как в дом Гаврилицэ заявились двое рослых мужчин с нахлובученными на глаза большими кушмами.

– Есть приказ доставить тебя на суд.

– Кто, разрешите спросить, тот умник, который требует от меня явиться в суд?

– На месте узнаешь.

– Ой, горе мне, горе. Куда это вы его забираете? Сжальтесь, люди добрые, да у меня в сарае старая заколотая овца, и если не содрать с нее шкуру, то это за место него сделают сельские собаки.

– Так сразу бы и сказала, мы быстренько ему поможем, авось и нам перепадет кусок баранины.

– Боюсь, баранина будет вам не по нутру. Бедное животное было уже бездыханным, когда заколол его Антип, – остудила их пыл старуха.

Услышав такое, один из бандитов брезгливо сплюнул, обратившись к товарищу: «Пошли, Иримия, дохлятины полон лес! Лучше полакомиться борщом с фасолью, чем испоганиться засранной овцой».

Они увели Антипа с собой. Под ивами они водрузили его на седло рядом с Иримией. На окраине села они повязали ему глаза и погнали лошадей. Через час с лишним они добрались до пуши Хыртопского леса. Они спешили. В низине, в терновнике, искрясь и потрескивая, горел огромный костер.

Антип остолбенел, увидев тут двух женщин. Одна, с золотистыми, как лико солнца, волосами, опущенными на плечи, была похожа на жену некогда шефа местной жандармерии. На ее правой щеке была бородавка, у нее были миндальные глаза. Вторая, как ни странно, была его двоюродная сестра Кармела Здупару. Здесь также присутствовал и господин плутоньер (* молд. – старшина) Здупару и сам Бодя – главарь воровской шайки.

Первым к Гаврилицэ подошел Здупару.

– Не узнаешь, бадя (*рум. – уважительное обращение к старшему из мужчин) Антип?

– Как не узнать. Да ты муж моей двоюродной сестры Кармелы.

– Был мужем, сука она этакая!

Услышав слово «сука», красивая женщина с золотыми волосами вскочила с места пуще лвыицы:

– Я не позволю никому произносить эту кличку!

– Уймись, девка! Что с тобой случилось?

– Что случилось? Сейчас я тебе покажу!

И одна махом сорвала с себя одежду. Взору собравшихся предстала изумительно красивая белая грудь с двумя голубками, светившимися даже при лунном свете. Но грудь эту кто-то успел изуродовать. У голубков был оторван клюв, то есть соски были сожжены. А ниже, по обеим сторонам живого, – такие же, но двенадцать в ряд. Ожоги были похожи на сучьи соски.

– Смотри, смотри, господин плутоньер, что сделал со мной Бодя из-за ревности к Вентилэ. Беднягу Вентилэ он кастрировал, как быка. Его уже нет в живых. Его, привязанного к дереву, с гноившейся раной на виду всей братвы, заживо съели черви. А меня Бодя проткнул раскаленным железом, и в местах ожогов повтыкал мне сучьи соски. И они принялись. С тех пор и дана была мне кличка «Сука». Господи, да где же тот ад, который бы всех их побрал!

– Закрой свой рот, женщина, – авторитетно, как поп с амвона, остановил плутоньер Здупару рассказчицу. – То, что ты тут поведала, не идет ни в какое сравнение с преступлением, которое совершила та, что была мне женой. Пусть она бы изменила мне с целым селом, пусть легла бы она в нашу супружескую ложу с полком солдат, даже в этих случаях я бы не опустился до того, что сотворил с тобой Бодя. Знал бы я, что он садист, я бы за версту обошел бы его шайку. Но это не по теме. Ох, как бы я хотел, чтобы моя любимая Кармела была бы последней тварью, последней сукой, лишь бы не докатилась до такого неимоверно тяжкого греха.

– Что она могла совершить страшнее прелюбодеяния? – вытаращила на него глаза женщина с волосами цвета спелых колосьев.

– Вот об этом и расскажет нам дед Антип, он выложит нам сейчас всю правду.

И дед Антип в деталях рассказал услышанное от Кармелы, а также поведал о непоправимой беде маленького Арманда, которому родная мать попыталась перерезать горло, от чего парнишка сошел с ума.

Воры, какими бы кровожадными они ни были, узнав такое, как по команде нащупали свои кобуры, словно опасаясь нападения женщины-детоубийцы.

Кармела, стоявшая до сих пор окаменевшей, в одночасье упала на колени, подползла к ногам Здупару и, охватив их руками, в беспамятстве неистово стала целовать голенища его сапог.

– Сжался, муженек, мы еще молоды, и я нарожу тебе кучу детей...

Здупару безжалостно пнул ее ногой. Женщина с гиканьем покатилась.

– Кто возьмет на себя грех покарать ее? – спросил Здупару.

– Я, я, я, – хором откликнулись бандиты.

– Дайте мне завершить это дельце, – напросилась женщина с волосами цвета спелых колосьев. – Бог – свидетель, что это право принадлежит мне в большей степени, чем вам, мужикам, потому как мне следует искупить собственную вину.

– Будь по-твоему, – согласился Здупару. – Только пусть она сама решит, какой смертью умереть: утопление, виселица или пуля...

– Не хочу умирать, не хочу умирать, любимый, – запричитала тронутая умом Кармела. – Али не я тебя ласкала, али не я тебя любила, али не я тебя ждала? Из-за тебя и из-за томительного ожидания тебя пошла я на преступление...

– Сдохнет падла от всех грехов, – огласила приговор женщина с волосами цвета спелых колосьев.

– Как? – спросил Иримия Панаит.

– Очень просто. Для этого мне нужна полная бочка воды, веревка и пистолет.

– А дальше? – настаивал Иримия.

– Наденем петлю на шею, пустим пулю в лоб,отрежем веревку и утопим ее в бочке, аминь!

– О, святая богородица, помилуй. Да ты и впрямь мать бандитов...

– Этому у вас, бандитов, научилась.

– Полегче на повороте, милая госпожа, – вскочил со своего места Бодя. – Смотри, как бы мы не завершили тобой задуманное без твоего участия. Уж больно сильно ты тут распоясалась. Давай выполняй свой долг. А шутки эти попридержи. Не смей мне наступать на большую мозоль...

Все смолкли, как по команде, направив взгляд в сторону женщины с волосами цвета спелых колосьев, которая «пожирала» свою жертву, сперва застрелив повешенную, а потом утопив ее в бочке с водой.

После того как она завершила свое дело, злодейка произнесла ангельским невинным голосом:

– Похороните ее поодаль, а то мне скверно смотреть, – сказав это, она направила дуло пистолета на

Бодю. Тот увернулся, вытолкнув впереди себя Иrimiю.

– Не бойсь, капитан, еще не пробил твой час.

Кто был поблизости, услышал угрожающий скрежет зубов Боди.

Антипу вновь завязали глаза и отвезли в село по другому пути, наказав ему рассказать односельчанам о совершенном в лесу суде. Только он не должен называть ни одного имени из тех, что услышал в лесу, чтобы не распрощаться с собственной жизнью.

4

Бедный Туфэникэ, выбравшись живым из лап бандитов, закрылся в доме и наказал Елизабет никого к нему не пускать, даже если это будет министр, под предлогом того, что он болеет сыпным тифом. Целую неделю он строил планы, что предпринять и кому пожаловаться. Попробовать посидеть в двух лодках навряд ли у кого получится, бандиты могут догадаться его хитрости, и тогда ему несдобровать. А если попадешься советам, то они отведут по стопам его двоюродного брата Думитру Мыслу, который вздумал обвести власть вокруг пальца, будучи и «вашим», и «нашим», как говорил оперуполномоченный Агеев.

Завтра вторник, завтра пойдет сдаваться добровольно. «Вот, – скажет он власти, – связался с ворами. Вы вправе поступить со мной по вашему усмотрению. Я думаю, вы не станете пуще них меня терроризировать...».

С одной стороны, это как бы правильно, а с другой? То, что требовали от него бандиты, не стоило большого труда выполнить, чтобы кто-то в чем-то заподозрил. Например, если организуют на них облаву, ему ничего не стоит оповестить чабанов, чтобы те зажгли огни на пригорках. Что касается работы с людьми, тут проще: кого-то выдаст, кого-то помилует, и все обойдется. Теперь причины всякому можно найти.

Взять хотя бы Иона Амана. Бандиты хотят его сделать старшим чабаном над колхозной отарой, пусть так и будет! А Арсения Чоклу следует снять с должности начальника винокурни. И что? Раз надо, то снимет. Но зачем им эта перестановка? Ага, эти перестановки им на руку. Ну и пусть!

Быть того не может, чтобы бандиты решили от него избавиться. Ведь если он стал «их», значит, доверяют, значит, в нем нуждаются.

Ох, как хотелось посоветоваться по этому поводу с Елизабет, но она женщина и не сможет держать язык за зубами, растрезвонит по всему селу. Тогда к нему заявится «сука» с раскаленным железным прутом и нанесет ему на ягодицы цифровые отметки, как отмечают крупы лошадям.

А если и оперуполномоченный Агеев того же замеса? Вот так и разворачивают страну налево и направо. Нет, этого не может быть. Агеев чист, как слезинка. Не зря тогда, когда Елизабет положила ему в торбу кусок свежего овечьего сыра, он замахнулся им на нее, накричав, что было мочи, что он в состоянии прокормить себя на свою зарплату в две тысячи рублей. Оно-то и так. Кстати, за две тысячи рублей можно приобрести в Мовилень самый добротный дом. А попробуй-ка жить на триста семьдесят пять рублей, сколько он получает. Когда Агеев посоветовал ему не брать взятки, он постеснялся спросить, что это такое. Но интуитивно понял, что нехорошее дело зариться на чужое добро.

Во время голодовки он ни разу не отступился от приказов сверху. Выполнял все указания точь-в-точь. Самолично шарил по чердакам в поисках сокрытого. Только один Якобан воспротивился ему. Нацепив на грудь все свои ордена, он прогнал его прочь, пригрозив вилами. А с Якобаном никто не хочет иметь дело. Отступил тогда и Туфэникэ. Даже пограничники, и те ему попались. Когда его корова, нарушив границу, была ими застрелена, Якобан обратился с жалобой во все инстанции, открывал с десяток дверей, но своего добился. Пограничники оплатили ему стоимость коровы копейка в копейку, столько, сколько он от них затребовал, а затребовал он немало. Почти годовую зарплату Туфэникэ.

«Ничего, ничего, – думает про себя Туфэникэ, – попадутся они мне в сети, как золотая рыбка. Не завтра, так послезавтра, но все-таки попадутся». И тогда он воздаст им сполна, чтобы жизнь маслом не казалась. А на время решил оставить Якобана в покое. Придет время, он припомнит ему и вилы, и псов. А покамест вынужден его терпеть.

И Ацосу тоже отомстит. Этот имеет лодку и ловит рыбу, где только вздумается. Стал миллионером. Много еще дураков водится на белом свете, если благодарят его за оказанную помощь во время лихого голода. И как тут им не помочь, когда за одну дохлую рыбешку готовы были пожертвовать всем самым ценным, что было в доме: платили коврами, дорожками, иконами. И куда он только запихивал все это добро? Аккурат приторговывал им в соседнем государстве. Вот об этом и следует шепнуть пограничникам. А что если пограничники с ним в сговоре? Тогда прощайся Туфэникэ с креслом председателя! Нет,

нет, и с Ацосу следует повременить. Дождется Туфэникэ лучших времен, обязательно дождется. Кто там еще у него остался? Да, чуть не забыл – Тоадре Камерзан. Ну и хватка у него! Через не могу увернулся от войны. Определили его в резервисты и оставили работать на железнодорожной станции. Всего у него в избытке. Когда Туфэникэ залез к нему на чердак, Камерзан подтрунивал:

– Будь человеком, оставь хоть что-нибудь мышам на корм, чтобы помянули они тебя на том свете хорошим словом, чтобы они тогда прогрызли врата ада и вывели тебя, каналью, к свету! Отчего он посмеялся над ним? Да потому что на станции всякое добро перепадало. Наверняка он взламывал вагоны и крал крупу в то время, когда вся Молдова голодала. Ему нипочем, что у него отбирают последнее, он с голоду не помрет, это точно!

Все эти мысли все сильнее и сильнее будоражили Туфэникэ. Если со мной что случится, односельчане поспешат припомнить мою «доброту». А что, бог свидетель, ради них старался. Помню, когда помер ребенок вдовы Леордан, заявила она ко мне в слезах и попросила два ковша пшеницы для кутьи (* рум. – коливо). И я, нарушив закон, пошел ей навстречу. Но она ничем не сможет пригрозить, так как вместо того, чтобы отнести коливо в церковь, сама его съела, отравилась и померла на месте. Какой скандал поднялся! Кому как не мне их хоронить! И я был вынужден выделить пшеницу еще на одну кутью. Но могильщики, пришедшие на поминки, даже пальцем к ней не притронулись.

– Вам что, коливо не нравится? – спросил я их. Тогда оборванец Галбура сплюнул сквозь зубы, как будто объелся мяса, взял кутью и выбросил собакам. До утра обе собаки сдохли. Только тогда я догадался о своей оплошности. Я выдал для коливы семенной пшеницы, которая была протравлена химикатами против грызунов. После этого случая я всю отравленную пшеницу закопал подальше, пусть крысы ею травятся, а то развелось их тьма-тьмущая.

И подумать только, я и впрямь мог кого-то спасти. Не всех, конечно, а некоторых. Достаточно было не ковырять мне вилами в загоне для скота, только там прятали люди мешок-другой зерна. Я же, почувствовав, что вилы легко вонзаются в рыхлую землю, тотчас находил спрятанное. Так я напоролся на Петре Москалу. Он прятался в яме еще во время войны, дабы избежать мобилизации, да так и просидел в ней, пока она не закончилась. Его лицо было желтым, как воск. Я тогда посадил его под замок, чтобы сдать властям. Но утром в погребе от него остались одни кости. Его сгрызли крысы. Но я этому не верю. Скорее всего, сбежал.

А о сыне Костаке Мындру, какие только слухи не распускали обо мне. Поговаривали, что я его вздернул. Как я мог повесить такого здоровенного мужика, как он? Что правда, то правда, это я ему убрал табурет из-под ног. А петлю на шею он сам себе завязал, собственноручно, так сказать. Если бы не повесился, то все равно помер, у него не было никаких шансов выжить.

А с женой Адама как случилось? Приходит она ко мне, еле-еле передвигая ногами от голода, и просит:

– Дай мне, Павел, мешок муки, я тебе чем хочешь отплачу.

– Видишь, сбылось мое желание. Сама пришла! А давеча, когда я бегал за тобой, как угорелый, ты выбрала в мужья Митруцу Адама, и мне ничего не оставалось, как жениться на вдове.

– Вдова, не вдова, Павел, а с приданым и избой. И дурнушки имеют право на счастье.

Тут она меня достала:

– Слышишь, ты, королева Мария, сегодня вечером я буду тебя ждать с торбой муки у сломанной скирды.

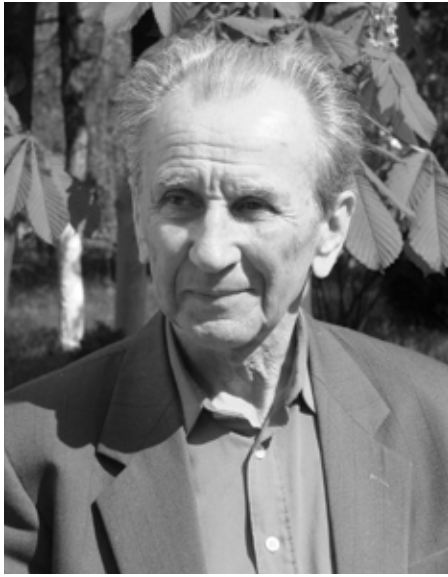
Думал, не придет. Ведь какая гордячка была. Но она явилась к назначенному месту и часу. То, что впоследствии произошло, никак не укладывается в моей голове. Посмотрев на торбу, она померила меня взглядом с ног до головы, да как врезала мне по морде, аж искры посыпались. Так и не забрав муки, спешно удалилась.

Точно такими же презрительными глазами посмотрел на меня и цыган из банды Боди. «Сука» прожигала мне мясо каленым железом, а он, как ни в чем не бывало, играл себе на скрипке амурные песни. Бодя сиял. Но ничего, я им это припомню.

Туфэникэ погрузился в дремучий сон. И снилось ему, что односельчане несут его на руках, а в вышине извивается песней, как на большом празднике, черный ворон.

Продолжение следует.

Олег ЕПИФАНОВ



Настоящее имя – Павел Оверин. Родился в г. Таганроге в 1934 году. Окончил Новочеркасский политехнический институт. Публиковался в коллективных сборниках и периодике Приднестровья, а также в журналах «Литературный альманах» и «Днестр». Первый поэтический сборник «Причал» выпустил в 1999 году, затем вышли сборники «Диалоги», «Конец сезона», а также детская книжка «Как у нашей Верочки». В настоящее время живет в городе Днестровске. Член Союза писателей Приднестровья.

Прогресс?!

Я в красный галстук верил строго
и комсомольцем резвым был,
и я не верил с детства в бога,
а всех «буржуев» не любил,
и верил: мир свободы – будет! –
хоть и не скоро, но придёт!
Он что-то примет, что – осудит,
что – вознесётся, что – падёт.
Прогрессу верил я особо –
вперёд движение – рекой!
Но может довести до гроба –
смотрю я с болью: есть такой –
он ненавистен был мне сроду –
металл дорожного катка –
прогресс, которому в угоду
идёт природа с молотка.

* * *

Весь декабрь – будто он – не зима...
На исходе январь флегматичный –
ни снегов, ни морозов привычных,
и, похоже, зима – без ума.
Словно осень прошла без преград
на соседнюю ширь временную.
Но давно отшуршал листопад,
хлебоборб завершил посевную...
А пока по утрам алый шар
не спешит снять тумана завесу,
небосвода холодный пожар
полыхает над сонной Одессой.
К ней прильнув, словно к женской груди,
наслаждаясь теплом на просторе,
и, решив, что зима – позади,
тихо плещется Чёрное море...
Порезвиться б морозу – не грех!
Но на окнах нет чудных узоров...
И откуда возьмётся тот снег,
если тучи не ходят дозором...
Уж февраль... Тих и нем. Даль ясна.
Дар небес? Бред людей? – Чьё творенье?
Без зимы и весна – не весна –

не заметно её пробужденье.

Я в России родился и рос –
не страшны зимних вихрей угрозы.
Мне нужны – заявляю всерьёз –
и зима, и снега, и морозы!

* * *

Любви запоздалой слепая громада
обрушилась вмиг: не уйти, не сдержать.
Отвергла сомнения: надо – не надо,
по-царски велела собою дышать!
Я ждал, но не кроху-любовь, но большую,
чтоб с нею никто бы и сладить не смог,
готовил покои в душе... Но такую –
громаду не ждал – захватила врасплох!
С амурчика ростом являлась, бывало!
Тоска: ни тревог, ни волнений, ни дум.
А это такая – покоя не стало,
все только она – ниагаровый шум!
Тропический ливень! И некуда деться!
Сплошная и прочная чувств пелена,
как бред в полусне из далекого детства:
куда ни направляюсь – стена да стена.
Не знаешь, что ждать от нее, от незрячей.
Такие порою творит чудеса!
Душа то скулит собачонкой бродячей,
то вдруг загремит! Не душа, а гроза!
Влюбленный поэт, вон, срывался с простынок,
дровишки рубил где-то в глуби двора,
чтоб только от ревности малость остынуть,
восславить любовь острием топора!
Кому-то любовь – хитроумная клетка,
где словно в неволе и плоть, и душа,
Кому-то она – непоседа, кокетка
капризницей мимо пройдет не спеша.
Ко мне вот пришла – как крестом осенила!
Без спросу взяла – безрассудная власть!
Такие в ней воля и гордость, и сила –
умрет, не позволив себя обокрасть!
Я б сгинул навек в лабиринте исканий,
Но эта любовь – Ариаднова нить –
помимо регалий, политик и знаний,
меня удостоила радости жить!

Отдых с ночевкой

В субботу воскресим мы наш велосипед
и на его расшатанный багажник
в кульке уложим сумму наших лет
да валидол – наш подъязычный стражник, –
бутылку «Каберне», чтоб отдых уберечь
от суеты и чар самообмана;
возьмём еду и спички, чтоб разжечь
костёр в ночи на берегу лимана.

Велосипед довёз Любовь и нас двоих,
и тяжесть лет, и скудость жизни бренной
до тишины... Мы замерли на миг,
как будто бы достигли во Вселенной
другой планеты, схожую с Землёй...
Пылал закат – хранил его сам Аргус.
Покрыло нас пожара пеленой...
А правил всем спокойный, мудрый август.

Вся в тайнах, ночь, не стала тишиной:
гудел комар мелодию печали,
оркестр сверчков не нарушал покой,
лягушки сдуру без конца кричали...
А мы зажгли костёр и – чудеса! –
над нами в небесах погасли звёзды!
Вокруг был мрак, и наши голоса
звучали глухо, будто стали мёрзнуть.

Мы у костра, свободно развальясь
в довольно старых выброшенных креслах,
болтали обо всём, отбросив только «грязь»,
закусывая пищей лёгкой, пресной,
прохладное вино... Любовь невдалеке
безмолвная, сидела в ожидании –
её подруга Страсть, резвясь на ветерке,
всё пряталась вблизи от страха наказаний.

Воистину, Любовь мне стало жаль –
ей тоже не легко возиться с нами.
Она хоть вечна, как без края даль,
но тоже лечит чью-то боль слезами...
Приблизившись ко мне, не пряча взгляд,
ты смотришь вдаль глазами с поволокой –
не так давно был тайной наш обряд,
особенный, как на земле далёкой...

Костёр дремал, прося его залить...
Мы к дому шли во мраке осторожно,
я думал: – свет не трудно ощутить,
глухую тьму осмыслить невозможно...
Ночь над зарёй уже теряла власть...
Мы в дом вошли и – глядь: в малютке-зале
на корточках в углу сидела... Страсть...
И мы её, конечно, не прогнали.

* * *

Расставание – ломка душ до хруста!
Как сказать про боль, какими фразами?
Говорят, любовь жива по воле чувства
и еще всегда крепка по воле разума...

Да, была Она, но в ней жила тревога,
горечь мучила давнишняя, венчальная,
И любовь была, как скользкая дорога,
эфемерная, как будто бы случайная.

И по той стезе ходили мы украдкой.
Но любил Ее, красивую, нарядную!
А она жила с опаской да оглядкой.
Я ж хотел любовь лишь безоглядную.
Но хранить ее – великое искусство.
У влюбленных справедливость разная:
мною правила простая правда чувства,
и совсем другая – Ею – правда разума.

* * *

Восхваляли родные просторы
и любимую родину-мать,
и столицу её – чудный город,
и, негромко, – столичную знать.
Помянули героев сражений –
от врагов эту землю спасли.
Бог – он тоже спасал, без сомнений –
и господни дела вознесли.
Юбилеи сочли, годовщины –
свысока на историю взгляд:
над былым без стыда и кручины
похоронный свершили обряд.
Не горели в бреду, не страдали,
не прощали чужие грехи...
Так, на белых листах умирали
поражённые ложью стихи.

* * *

На кончиках пальцев твоих
Волшебные запахи прерий,
И ветры тревог и неверий
И легкий есенинский стих
На кончиках пальцев твоих.
Восторги счастливых минут,
Призывы надежды и веры,
Томящая нега Венеры
И нежно хранящий сосуд
Восторги счастливых минут.
На кончиках пальцев твоих
Истоки безумных желаний,
Как в струнах – источник звучаний,
И тайна одна на двоих
На кончиках пальцев твоих.

Валерий ОВЧАРУК



Родился 2 января 1944 года в селе Верх-Чебула, Чебулинского района Кемеровской области. Отец – Овчарук Константин Иванович, офицер-фронтовик. Мать поэта – Ольга Антоновна, врач-стоматолог. В 1947 г. отец был переведен райвоенкомом в Карпиненский РВК Молдавии. С 1949 г. семья жила в Кишинёве. Окончил среднюю школу и филологический факультет КГУ. С 1990 г. проживает в Тирасполе. Член СП Приднестровья. Автор многих публикаций в России, Украине и Молдавии, а также двух поэтических сборников. Руководитель созданного им ЛИТО «Светоч» с 21 ноября 2009 года.

России доля – наша доля

– России доля – наша доля,
Наш крест – он всей России крест...
И, покоровшись Божьей воле,
Народ давно не ждёт чудес. –

Так говорил Евлампий Нилу
На лесосеке у костра.
В сторонке остывали пилы
И умолкали трактора.

Повал окончен. Сучкорубы
Сложили топоры у ног
И задымили трубы-губы –
Подведен трудовой итог.

Сидят, гутарят – круг не тесен,
И по сто грамм принять не грех,
Сошлись от городов и весей
И от границ России всех.

Союзной Родины не стало.
В тайгу вернулись. В край родной...
В кругу и молодой и старый
С одною болью и бедой.

В их душах, как в таёжных недрах,
Клад золотых талантов скрыт,
В них гены прадедов и дедов,
И сердце каждого болит.

Тайга – путей хитросплетенье
Меж ельников, березняков,
Зон исправлений, оцеплений,
Мест очищений от грехов.

Едят и пьют. И вместе мыслят.
Тревожат мысли, бередают...
Все навиду. Антип, Анисим,
Евлампий, Нил, Сафрон, Кондрат.

Зима заснежила Россию,
Залёг в берлогу русский дух,
Но слышу – в нём проснулись силы
И ловит пробужденье слух:

– России доля – наша доля,
Наш крест – он всей России крест...
Курил, Сибири, Приднестровья –
Везде, где вор, торгош пролез.

Не жменькой хапают – лопатой
Востока-Запада дельцы,
Свои и пришлые магнаты,
Терроров и интриг спецы. –

– Но Бог не выдаст нас ! И – точка! –
На лесосеке у костра
Сказал мужик. Весомо, точно,
Сжав топориче топора.

Хорошо

Хорошо, если кто-то внимает,
С полуслова тебя понимает,
Как жокея поймёт лишь жокей...
Но по-своему каждый седлает
Непохожих, как судьбы, коней.

Хорошо, если люди причастны
К общей теме – им легче общаться...
В бедах, радостях общность судьбы
Позволяет друг к другу стучаться,
Уходя от безликой толпы.

Хорошо, если в праздник семейный,
Без набора постыло-елейных,
Этикетом приправленных фраз,
Скажет тихо приятель: «Налей мне,
Выпить хочется просто за вас».

Играют гимны тополя

Какая ночь сегодня лунная
Над засыпающей землёй!
И тополь ветками, как струнами,
Играет гимн чуть слышный свой.

Ко мне доносится звучание –
В нём звуки лета и весны,
А рядом человек случайный
Встревожен: «Друг, вы не больны?»

И я спешу ему, случайному,
Ответить: «Нет, я здесь стою
И просто слушаю в молчании
Гимн тополиный бытию,

Покою, нежности, гармонии –
Бетховен, Бах, Вивальди в нём,
Такую чудную симфонию
Я слышу только над Днестром».

Возносит братскому сообществу
Природа к небу гимн святой.
Я верю – Богу очень хочется,
Чтоб был здесь мир, чтоб был покой.

Чтоб все мы слышали звучание.
Что дарит счастье бытия,
Все – молдаване, россияне...
Играют гимны тополя.

Это наше былое

Всё становится старым,
Всё становится ветхим –
Холодильник устало
Токи пьёт из розетки.
Он годами натружен,
Он хрипит, он простужен,
В это трудное время
Он пока ещё нужен.
В «Евростиле» – элита,
В «Евростиле» – «крутые».
Ныне в новшестве быта
Вижу стены пустые.
Нет былого убранства,
Фотографий, портретов –
Блеск слепящий богатства
Без духовного света.
Пожелтели в альбомах
Наших пращуров лица,
Будет так же потомок
В забытые суетиться.
Отживает былое
С холодильником старым...
Дорогое, простое,
Где портрет и гитара.

День Покрова

Гроздь винограда надо мной сверкает,
Так, словно с неба, свесилась лоза
И, радостно лучась, по ней стекает
Звезды слеза.
Многоголосьем предрассветным птичьим
В День Покрова Тирасполь пробуждён
И праздничный народ многоязычный
Встречает он.
Вдыхаю свежесть. Брызжут гроздь соком.
Так благодатна, так земля щедра!..
Твоя, благословляемая Богом,
У вод Днестра.
День Покрова. День города. День братства.
Святых молитв, свершений и побед...
С приветствием Суворова, Тирасполь,
Встречай рассвет!
Молдавии, России. Украины
И песни и стихи опять звучат,
Язык души, открытый и единый,
Как город-сад.
Листает Днестр победные страницы,
Все горести людские помнит он.
Тирасполь – наша крепость,
Град – столица,
Наш бастион.
Гроздь винограда надо мной искрится
В День Покрова. Под утренней звездой
Суворову хочу я поклониться
За город мой.

Владимиру Высоцкому

Я в сотый раз, а может, и не в сотый
Открою сборник, наугад открою –
Мягкая обложка с именем Высоцкий,
Прошитая аккордом и струною.

Мир звёздный за окошком, мир высокий
В гармонии настроенной гитары –
В нём слышу сердце с именем Высоцкий,
Биенье чувств. Ритмичные удары.

Вот и моё зашлося в унисоне.
Так не к лицу искрящиеся слёзы...
Я вижу взгляд на небо унесённый
Земной душою к вековым звёздам.

В нём лёд Эльбруса и неон Арбата,
В нём – на Каретной пистолета глянец,
В нём – лунный снег и пятна камнепада,
Струны надрыв и пальцев страстный танец.

В нём – недосказанность и недопетость,
Его души высокая бездонность...
И боль родной израненной планеты,
И крик её до хрипоты, до стона.

25.01.2008 года.

Дарьяна ЛЕМТЮЖНИКОВА



Родилась в Симферополе 26 октября 1988 года. Действительный член Малой Академии наук и народных ремёсел в области литературного творчества. В 2010 году окончила факультет математики и информатики Таврического университета с отличием. В этом же году поступила в Крымское художественное училище имени Самокиша на специальность «Дизайн» и провела персональную выставку. Автор поэтических сборников «Стихия» и «Фрактальная психология искусства», иллюстрированных собственными графическими работами.

Соколинский верлибр

Костёр свернулся калачиком в камине,
Мурлычет томно, вылизывая с треском
Дрова и просит порцию добавки...
А на субботу наступает полночь.

Ты засыпаешь на джинсовой подушке,
Как будто пламя на моих коленях.
Я превращаюсь в каменную кладку:
Хочу сберечь тепло и запах дыма...

Твоя любовь сегодня равнокровна
Душе огня на комнатных ладонях:
Ты согреваешь внешнее пространство
От перспективы уличного ветра.

«Искусство пережить ноябрь»

Переживать ноябрь
До январского белого хруста,
Ежедневно кидая монеты
В закатное море.
Переживать ноябрь:
Просыпаться с оранжевым чувством
Воплощённого взглядом рассвета
В расщелине моря.
Переживать ноябрь
Расцветать обнажённым искусством.
В конопатых объятиях лета
Рождаешься морем...

NEFT

Страх
Белой чалмой
Окутывал мир
Крах:
Люди с чумой
Затеяли пир
Взмах
Эллипс земной –
Охотничий тир.

Осадок оконных откровений

Настежь меня распахни
Лёгким оттенком небрежности.
Тёплыми каплями нежности
Спелые летние дни

Катятся вниз по щекам,
Взгляды небес бесстекольные
Мчатся путями окольными,
И, припадая к рукам,

Тянутся к тайне. Они
Искренни в рамочной резкости.
Спрятавшись в межзанавесности,
Настежь меня распахни.

* * *

Дождит. Организм стремится познать четверг:
Сознание явственно путает дни недели,
Точней имена пространства... Творец низверг
Гексаметры жидкости. Улицы окривели.

На площади хризантемами расцвели
Зонтов колпаки, акварельные а priori.
Асфальт изобрёл колёсные корабли,
Неспешно себя приучая к подводной роли.

* * *

Полёт разряжённым молчанием бездвигателю.
Случайный звонок ожиданием перегрет.
Давай притворимся, что ты – рождена в Париже,
Я – визу продлить не смогла и сожгла билет.

И падает в сумерки жёлтый обрывок лета,
Пространством седым впопыхах
не прочтённый вслух.
Мы – военнопленные призраки Интернета,
В чужих голосах заключаем бродячий дух.

Лия СЕРГЕЕВА



Двадцать четыре года. Занимается в поэтической студии «Луч» Игоря Волгина при Литинституте, выступает со своими стихами на различных поэтических мероприятиях. Окончила факультет журналистики МГУ, учится в аспирантуре, специализируется на русской литературе XX века. Работает секретарем.

Вокзальная молитва

Мне сегодня весело. У Бога
попрошу я пряников на грош.
Бог посмотрит скаречно и строго:
свой – чужой, поди тут разберешь!
Не молилась я в церквах, к иконам
не тянула жадно губ и не
верила. И слышались мне стоны
песни, замурованной в стене.
Душу продавала на базаре,
хоть бесценна по словам попа, –
я ее на части разрезала –
целую никто не покупал.
Не тверди «молись и будь хорошей»,
не грози мне муками в аду...
Просто дай мне пряников на грошик,
а уж я сама не пропаду.

Июль 2007 года., Кемь, вокзал.

Самое простое и важное

Самое простое и важное – дело:
под распахнутой (в поле) форточкой
смотрю, как тихо растет дерево
из вишневой косточки;
а ты вдалеке, как Лев Толстой, косишь траву
для чужих голодных коней,
шепотом по имени тебя назову –
и ты подойдешь ко мне.
Самое простое и важное – счастье:
заварить чай, зажечь свечи,
разрезать мягкий пирог на две части
на кухне вечером –
теплым дождливым душным;
каждому мотыльку право дано жить,
пламя свечей танцует, дрожит –
свечи потушим.
Самое простое и важное – не умереть:
не бояться дня завтрашнего, дня вчерашнего;
ты сумеешь обнять меня и согреть?
а большее – грех у бога выпрашивать.

Мне в моем метро

Забиваешься в дальний угол,
забываешься?
чувствуешь, как затекает рука,
как льется волной мимо чужая тоска, как
мальчик прижимает шапку к груди, словно мерт-
вого зверя.
захлопываются двери.
вагон летит в темноту.
толстый сонный ребенок полощет палец во рту.
можно закрыть глаза.
поезд летит к станции, на которой девушка в
белом пальто,
колышется от каждого вздоха, звука – вперед
она себе кажется больным котом,
которого никто никогда не подберет.
– до любви три шага, блестит рельс
в рай последний рейс –
в самом дальнем углу теплой,
и мысль о смерти не так тяжела,
и кажется, что не так уж и много боли и зла
на земле.

6 января 2012 года.

* * *

кошки не любят клюкву,
а я люблю.
клекот раздавленной кожицы,
одну за другой, включенная в этот ветреный
блюз.
на белой тарелке ягода –
голова Иоанна на блюде.
кошек не любят люди.
а я люблю.
люблю целовать их ягодный нос.
но: кошки бегут ласки
они как рыбы уходят на дно.
кошки замкнуты в своей шкурке
этим все сказано.
когда кошка стоит в углу
наказанная,
она бормочет себе под нос
кошачьи сказки

15 мая 2013 года.

Про любовь

1) если кошка –

Если кошка полюбит голубя,
полюбит смертельно – будет беда.
Нервы искрят проводами голыми:
путаница, чехарда.
Что может кошка ему дать? –
мягкий сильный охват лап?
вербный пушок хвоста?
не зная голода, голодного зла
кончиками усов – щекотать.
Кошка полюбит – взахлеб, взаправду,
полюбит зверски: загонит в угол;
похитить – и в тайне любить друг друга,
сбежать, уехать – в Ригу, в Прагу...
В тихой гостинице с окном на огни
пить молоко и есть зерно
(если не умрет – будет одно),
засыпая, перекачивать камушки-дни,
падающие на дно.

Сентябрь 2012 года, Афонское подворье.

2) если голубь –

Если голубь полюбит кошку,
каждым перышком – не шутя; –
немножко дико и страшно – множко
касаться мрака золотого когтя.

Самое страшное – признаться, принять,
сказать: Господи, ты признай меня
таким: погрязшим в горечь и суету.
Кошка идет по заросшей кривой дорожке,
я следом за ней пойду.

Если голубь полюбит кошку –
он будет надеяться на мир, тишину:
пить из одной чашки,
есть из одной ложки,
петь – песню одну.

Кого ты обманешь?
кого я обману?..

Любовь жаркая, до страха жадная
– искра в сухом лесу.
Жалко тебя, обниму, на руках тебя унесу,
голубь мой,
птица моя, страстью ужаленная.

Любовь – это когда тебя кусают,
а ты все равно целуешь в ответ.
Но утро проснется птичьими голосами.
твоего – нет.

Декабрь 2012 года, парк Сокольники.

Баллада о мышах

Дождь ушел направо,
завернул за душистый лес –
мы, вмятые в мокрые травы,
как осенние листья, устали, дышим;
и тихо идут под землей мыши.
они знают, сколько стоит прохладная горсть чудес.
они будут передавать ее друг другу чинно,
склонять голову в знак скорой беды.
пойдут дожди, и мыши глотнут воды;
и, покорные богу, уйдут в поход их мужчины.
а женщины распустят косы и будут плести венки,
и станут сажать голубые цветы на берегах реки.
соберут дику голубику и сварят компот –
как небо теплый, густой.
в один из голодных дней к ним из леса придет кот
солнечно-золотой.
раздерет их с костями – их печаль заберет.
он будет доволен и сыт,
благодарно вздохнет, поглядит на часы –
и снова уйдет в леса.
а мы – мы будем стоять, опустив глаза.
вернутся мужчины в пустые норы,
затопят печи, нальют компота, –
и будут молчать, чувствуя:
не хватает чего-то.

29 декабря 2012 года.

Как сажают стихи

Вл.Новикову

Наш самолет, летевший в Голландию, остановил-
ся на полпути.
Мы сошли на облако: размять ноги, покурить.
Все оттого, что пилот
захотел повидаться со своей покойной бабушкой,
обитавшей на небе.
Она варила варенье из спелых солнечных лучей
и передавала с оказией баночку живому еще
мужу,
который каждый раз перед сном
молился за ее веселую душу
(а также заботливую: без хозяйки в доме
на окне засохли герани).
Я слонялась со всеми по облаку,
сочиняла тихо стихи –
насочиняла их полные пригоршни
и – как солью посыпают суп –
посыпала ими землю:
когда-нибудь прорастут.
И мы вернулись в самолет и полетели дальше
в страну сочных тюльпанов,
а стихи мои медленно прорастали
где-то между Москвой и Амстердамом.

19 апреля 2012 года.

Нелли ЗИНОВЬЕВА



Окончила Современный Гуманитарный Институт, на данный момент является студенткой Современной Гуманитарной Академии и проходит обучение в Магистратуре Славянского Университета (г. Кишинев). По специальности маркетолог/копирайтер. Стихи начала писать еще в ранние школьные годы, участвовала в литературных конкурсах и научных конференциях.

Тоска

Я здесь, у запотевшего окна,
Старательно, тревожно душу рою.
Не возродиться детскому покою,
И лишь глубинней станет тишина.

Вновь обнажится хрупкое нутро,
Представ перед печалью без доспех.
Мы к осени теряем всех...
Как красок блеск теряет полотно.

Запахло сыростью, и запах в кухне бродит.
Не жду гостей, их нет уже теперь.
Я бы пошла и отворила дверь,
Да только вот никто и не приходит...

Я однажды уйду

Я однажды уйду, разрешаешь?
Пусть и горестно там, впереди...
Социальные принципы, знаешь,
Больно колют и режут внутри.

Я уйду, чтобы радостью вечной
Укрывать твою спину и грудь...
От любви нашей сильной, сердечной
Мне ночами порой не уснуть...

Не далёко уйду, умирая,
Подпирая собою перила.
Ты встречай меня, дверь открывая,
Будто вовсе я не уходила...

Ты целуй меня крепче, сильнее,
Помогая мне душу спасти...
Я шептать тебе буду, робея:
От тебя мне никак не уйти...

Спасибо вам

Спасибо, что не стали мы близки,
Спасибо, что делили разговоры
О чем угодно, лишь не о любви,

Что были нам неведомы те вздоры,
Которые разрушили бы нас,
Взывая многочисленные ссоры.

Спасибо и за то, что вы подчас
Забить могли о радостных прогулках,
О цвете моих равнодушных глаз

И не встречать меня на переулках.
Спасибо, что подаренное мной
Вы не хранили в потайных шкатулках.

Спокойны будьте, что я под луной,
Набравшись смелости от пьянства,
Звонить не буду к вам домой.

Благодарю, что ваше постоянство
Мне все ж не приходилось знать.
И трудное, но тихое упрямство

Лечить и бережно прощать.
Спасибо, что легко мне пережить
Все то, что вы не смели обещать.

А мне ценнее с вами все ж дружить.
Как хорошо, мы не обречены
Любовь с годами ревностью душить.

Как хорошо, что в статусе жены
Нигде мне не придется появляться
И знать, что будем мы должны
Когда-нибудь и где-нибудь расстаться.

Пой

Пой, когда я ухожу, возвращаюсь!
Чтоб песня твоя в такт по жизни вела.
Пой, когда радуюсь я, обижаюсь,
Пой, если страсть не утихла моя.

В нашей любви ты сильнее, когда
Мной без сомнений владеет упрямство,
Вылечи душу же в дни февраля,
Ты для меня – упование, лекарство...

Я не могу тебе дать всех высот,
На руки взять, подарить обещанья.
Пой, когда я, ожидая восход,
Еду к тебе, обманув расстояние.

Пой не спеша, можешь шепотом петь,
Чтобы на сердце заметно светлело.
Только не дай мне внутри умереть,
Ты для меня есть моё Consuelo.

Мы с тобою стары, как песни

Не свежи мы с тобой, не свежи,
Мы, пропитанные обидой.
От идиллии нашей разбитой
Нам остались одни миражи.

Наши чувства живут на пилонах,
Мой уют – на твоих плечах.
Нам осталась лишь боль в ушах
От нагретых телефонов.

Мы стары, как вино хмельное!
Мы с тобою стары, как песни,
Как те песни, в которых есть
Что-то самое дорогое...

Неблагодарная

При встрече я с тобой такая милая,
Стесненное лицо, душа пожарная.
Порой я как мигрень – невыносимая.
Неблагодарная.

Я так ценю тебя за чувства смелые,
Любовь бессрочную и многогранную.
Люби меня всегда чуть-чуть нахальную,
Неблагодарную.

Мы постоянные с тобой, свободные,
В своем упорстве мы слегка коварные.
Нам не хватает «нас», и друг для друга мы
Неблагодарные!

Иди по пятам

Здесь слякоть, и скользко порою бывает,
Иди по пятам, обходя со мной льды.
Мы – зиму, иль все же она проклинает
Всех нас за первые наши следы.

Темно, но я верю, что будем держаться
И знать, что в душе есть своя непорочность.
Смотри, как сугробы под ноги ложатся,
Бьет снег, проверяя березы на прочность.

Жаль только, что небо сегодня туманно
И много под обувью талой воды.
Тебе напою я любимым сопрано,
Лишь только иди, обходя со мной льды.

Беспричинная грусть

Ломают все мысли в уме, как тонкие спички ломают.
Шевелится с каждой секундой больнее во мне.
Покой подавляет собой и новую жизнь растворяет,
Позволив прошедшим моментам воскреснуть извне.

Лелей меня, что тебе стоит?

Коль любишь – лелей же, лелей!

Читай меня, словно читают стихи наизусть.
Жалей меня словом, жалей,
Чтоб более и не пришла
Моя изнуряющая беспричинная грусть...

Абстрактное

Весь этот свет в подъездах и в окнах напротив,
Все провода от дома к дому – птичьи дороги,
Все так приелось мне, но я не против
Стоять, смотреть, замерзнув на балконе в ноги.

Меня бесшумный двор пугал, и мысль пугала,
И ветер – враг, один из самых неприятных.
А небо, как нестиранное покрывало,
Местами было в катышках, местами – в пятнах.

В душе рождается свобода, гибнет сразу,
Упав к соседям на не звонкий подоконник.
И так не приходилось мне ни разу
Смотреть, как там лежит души покойник.

Мы путаемся в мире, в людях, в душах,
Идя по памяти тернистыми тропами.
Отчаянные. Мы готовы в стужах
Идти за сердцем голыми стопами.
За сердцем тех, кто вовсе нам не нужен.

Елена ВИБИЧ



Родилась в Кишиневе 26 июля 1996 года. С 2001 года училась в Городском Театральном Лицее. Сочиняла с того момента, как научилась говорить; писала с того момента, как научилась писать.

Сфинкс и ребенок

Беззвучно плещется в чашке вода
И свет луны озарил пеленки.
Когда весь мир поглотила мгла,
Ворвался сфинкс в колыбель ребенка.

Открыты ставни, и звук один
Землей владеет: кричат сверчки.
Безмолвно кинется нелюдим
От дома прочь к берегам реки...

И время задержит свое колесо.
Последним цветом цветет земля,
Пока, прорываясь сквозь страшный сон,
В лапах душителя плачет дитя.

Насильник

Дитя, лишенное любви твоей рукой,
От солнца спрячет в сердце эту боль,
Лелея память, как кричащего птенца,
Укрытого от взгляда темнотой.

И он, шарахаясь, пройдет через толпу,
Где каждое лицо знакомо вдруг ему.
Он, обернувшись, узнает в мужчинах
Твои усы, глаза, твою клюку.

Дитя, лишенное любви твоей рукой,
Навеки будет спать с одним тобой.
И боль его, наружу вырываясь,
Вдруг обернется силою другой.

И он, шарахаясь, пройдет через толпу.
С твоей морщиной на твоём же лбу.
И искалеченной рукою покалечит
Другое сердце, верное ему.

* * *

Под снегом спят забытые заводы.
Ржавеют трубы. Гаснет небосвод.
Не тронет солнце сон глухой природы.
Озера птицы переходят вброд.

Они танцуют над водой замерзшей,
Ища остатки прорубей во льду.
Потерянно лесник с холодной кожей
На небе ищет раннюю звезду...

Его сторожка далеко, за полем,
Затоплена там печь, но никому
Ни теплота, ни чай не нужны боле,
И свет свечи не тронет темноту...

В ружье патроны кончились, и волки
Не воют больше, нагоняя страх.
Олени выели сосновые иголки.
И только снег в глазах и звон в ушах.

Олива

Выпускает олива душистые листья весной –
Утешение плачущим, славным и смелым награда.
Скрылась от солнца малиновка в зелени сада...
Будущий день предвещает и ливень, и зной.

Голод приводит их к теплым стволам под навес,
Тянутся руки под кроны к неспелым плодам.
Там, под корой, дали волю прозрачным маслам
Черные земли и холод высоких небес.

Горечь плодов пусть им станет последней отрадой,
Головы их у корней обрели свой покой...
У оливы, что выпустит жесткие листья весной –
Утешение плачущим, славным и смелым награда.

* * *

Запах затхлый
Теплой воды...
Наклонились над прудом кусты,
И колышется ряска едва
И пестреет листва.

Но не видно
Песка, что на дне.
Чья-то тайна в подводной траве
Замутила ленивую воду
И внушает тревогу.

* * *

Деревья молча манят в дебри сада...
Но растворишься если в медленной ночи,
То не найдешь обратного пути.
Поэтому и гонит ветер от заката.

Одни лишь люди безмятежно спят –
Их укрывает всякая канава.
Гроздь белых ягод – скрытая отравы,
Гроздь черных ягод – несокрытый яд.

Когда укутает все саван темноты,
Людская тень взвывается, словно пламя...
Цвет одуванчика – о солнце память,
Болиголов – тревожащие сны.

Но в чашу тень уводит, прочь от света,
Где Перитон с кровавыми губами
И влажными печальными глазами
Из мрака выйдет вместо человека.

Рука коснется лба его, скользнув по щеке –
Он тих, он сыт, он хочет мирным быть.
И сытостью его свой голод утолить,
Ворвавшись в это тело, хочется руке.

* * *

Сквозь гул этот слышишь ли ты,
Как воют бродячие псы
В квадратах холодных дворов?

Как стрелы, наставив носы,
Бросаются с высоты
Синицы в бездонность снегов.

Застыли стрелки часов.
По-прежнему на засов
Закрота тяжелая дверь.

И сонный белый покров
Еще на сотню часов
Оставит мир без людей.

Кай

Ты знаешь, я гляжу все вновь и вновь
В бесцветный лед бездушного кристалла,
И сердце, что когда-то трепетало,
Заснуло, и застыла в венах кровь.

Ты знаешь, Герда, я забыл про все,
Что было повседневно и привычно.
Мне холодно. Но это безразлично.
Меня теперь до дна наполнил лед.

Я позабыл твой голос в этом сне.
Пусть нам обоим некуда идти,
Не смей коснуться пальцами груди –
Они горячие. Мне станет лишь больней.

Я потерялся в веренице размышлений,
Я утонул в бескрайнем море слов.
Не говори мне, Герда, про любовь –
Во мне давно угас огонь стремлений.

Холодный блеск осколков янтаря
Мне ближе вновь протянутой руки.
Оставь меня в покое. Уходи.
Я не знаком с тобой. Люби меня.

В прерванном танце лес заморожен.
Снежною крошкой под темною кожей
В венах древесных застыла смола.

Геометрически точные линии
В небо врезаются тонкими клиньями
И монохром поглотил все цвета.

Больше ничто не волнует воды,
Замкнутой берегом мерзлой слюды,
И нет ни тени на белой земле.

Лес опустел; равнодушные кроны
Больше не кроют не страхов, ни стонов
И не таится секретов во тьме.

* * *

Пусть будет сто сотен таких же ночей –
Их выпить ли до конца?
В вельветовом мраке цветущих ветвей
Прохлада и чистота.

И запахом скрытых от взгляда трав
Так ласково манит ночь,
И клонится мягко к лицу лоза,
Тревоги уводит прочь.

Античная мощь первобытных звезд
Затеряна в высоте.
Ночь шепотом листьев бежать зовет,
И манит ветер к себе.

Мария ОДНОЛЕТКО



Двадцать три года. Проживает в Тольятти. Окончила ВГИК в 2013 году сценарно-киноведческий факультет.

«Появление на свет»

Когда

Я вру, если хочу быть услышанной,
 Я вру, если хочу быть понятой,
 Я вру, если хочу быть оцененной по достоинству,
 Я вру, если пою,
 Я вру, если мечтаю о будущем,
 Я вру, если думаю о прошлом,
 Я вру, если живу настоящим,
 Я не вру, когда открываю глаза.

* * *

Ничто не отдаляется, словарь
 По-прежнему капризен и неистов,
 Бесслѐзная луна струится вдаль,
 И сердце отдыхает от артистов,
 Плывѐт куда-то в синий небосвод,
 Где нет ни многоточий, ни пророчеств,
 Где сердце отдыхает от забот
 И потчеств.

Огонь

Пруд пруди в мире таких как я слово дело поступки проститутки тоже как люди как можно сказать говоря в какие-нибудь залезают маршрутки тело дрожит мысли из раза в раз прыгают на мосты тротуары попутки голос голос затих и уже забывает про глас ночь забинтована вся всё с чем я боролась выше меня ниже меня как раз слаще меня глуше меня смелее
 всё чего я хотела грызть пенопласт всё чего я могла быть добрее сердце истаскано жмѐтся в груди маяя ночь обещала простуду и невесомость если бы я была бы моряк то для кого никого не была бы новость ноги в тепле голова отстает на шаг сердце вперед навстречу чему-то лучше тихо вокруг не слышно вокруг собак тихо вокруг хотелось чтоб было лужи вновь полумрак и какие-то звезды рядком обосновались и ждут своего назначения знак зодиака мне опять незнаком и мне нечего больше терять теряю терпение

Утро

Когда солнце обжигает сетчатку – значит, утро,
 Когда улица мертва – значит, утро,
 Когда спать не хочется, но уже светло – значит, утро,
 Когда дерево не дрожит – значит, утро,
 Когда кузов любой машины блестит,
 И все машины кажутся чистыми и светлыми – значит, утро,
 Когда видно даже, как садится пыль из одного окна на балкон этажом ниже,
 Когда всё молчит и добавить больше нечего – значит, утро пришло, значит, утро явилось.

Давай

Давай займѐмся ложью или займѐмся любовью...
 Выбирай...
 Давай займѐмся дрожью, и нам станет легче,
 Давай займѐмся ложью, и нам станет легко.

What

Что значит мастер?
 Труп, труха, надежда и истомы
 Что значит мастер?
 Ни шиша,
 Безденежье и кома
 Что значит мастер?
 Только звук, дрожание созвучий
 Что значит мастер?
 Ложь наук и случай

Россия

То ли ты не существуешь, Россия,
 То ли ты недоступна,
 Когда смотришь в окно, как раззия,
 Кажется, что на улице утро,
 Никогда не видишь ночи,
 Только людей в ослепительно сером,
 Только фонари и много дочек,
 Дрейфующих нервы,
 Какие-то крики, какие-то «шу» на лавочке парами,
 Не знаю, кто виноват, что свадьбы с гитарами
 Больше не в моде, как близость

за гранью искомого.

Я не хочу выходить сегодня из комнаты,
 Но как завещал Бродский – «баррикадироваться»
 Тоже нет смысла, как впрочем и делегироваться,
 Представлять Россию в маршрутке,
 автобусе, автомобиле,
 Россия ходит пешком. Вы разве забыли?
 Россия плачет битком над сущей нелепицей,
 Когда выходишь за молоком, всё перемеливается,
 Грустью смеются глаза, злости подобные,
 Что мы почему-то такие все внутриутробные,
 Что мы какие-то все ненастоящие,
 Какие-то тихие слишком и вечно скорбящие,
 Какие-то равные слишком и потаённые,
 Нормальные люди такие, самовлюблённые,
 Любители выпить, любители вставить слово
 В любое немое лицо – ты здорова? –
 В любое глухое лицо – ты опасна?
 Россия, когда понесёт, громогласна,
 Поэтому всё молчание ейное – золото, золото,
 Россия по-прежнему ходит с кувалдой и молотом,
 Но это на крайний случай – заболевания –
 Непонимания её понимания.

* * *

Я слишком привязана к месту, из которого смотрю
 в окно,
 Где рядом – закаты, какой-то рассветный шум,
 И я бы здесь умерла, но это было давно,
 Теперь же я просто к себе прихожу на ум,
 Думаю в небо, в ветер ворчу на свет,
 Дрожащему дереву прямо смотрю в лицо,
 И там хорошо, где мамы в помине нет,
 Где курочка Ряба ещё не снесла яйцо.

* * *

Если запрещать мне что-то упорно, сойду на нет,
 Замру, запрусь в квартире – пишите письма,
 Тяжело жить в стране, которой так много лет,
 Которая так молода, которая так лисья,
 Тяжело жить в огне и воде, когда воздух изрыт,
 Тяжело ходить по земле, когда сердце клокочет,
 Тяжело возбуждать потерянный аппетит
 К тому, что называется отечеством, творчеством...

If

Если перейти улицу в непопленном месте,
 то можно взвизгнуть при виде тебя,
 Если заглянуть тебе в глаза, то лучше смолчать,
 не думая об их цвете,
 Если писать стихи, то лучше в тишине или наобум,
 Если мечтать о несбыточном,
 то лучше вдвоём и при непогашенном свете.

Why

Почему люди не поют затылком?
 Мы бы избавили друг друга от стольких
 тонн лжи, от желания понравиться,
 от иллюзии какого-то диалога...
 Почему люди не поют затылком?
 Потому что у них есть сердце,
 которое должно приучаться видеть людей такими
 же беспомощными в любви, как и они сами.



Виктор ГРИШИН

проект осуществляется при поддержке компании Orange



Родился в 1952 году на Волге. Образование высшее, кандидат экономических наук, доцент. Финансист-аналитик. Живет на Кипре. Активно печатается в солидных экономических изданиях. Автор нескольких книг: «Детство на окраине», «Записки неизвестного соотечественника».

Тайна старого фундамента

Я сижу на старой развалившейся лестнице на склоне холма Кампена и рассматриваю курительную трубку, которую только что выкопал, расчищая участок земли под клумбу. Под моими ногами протекает неспешная жизнь Бринкенгате, одной из старых улиц столицы Норвегии. Это островок старой доброй Христиании, носящей сейчас имя Осло.

На дворе третье тысячелетие. Совсем недавно человечество вздрагивало от его наступления. Время сжималось, как пружина. И оно пришло, заявило о себе это тысячелетие. Мало, что пришло, оно понеслось еще интенсивнее. Оглянуться назад некогда. Вот и вся наша проблема. «А годы летят, наши годы как птицы летят, и некогда нам оглянуться назад» – очень популярная была песня. Только одно плохо. Почему же нельзя оглянуться назад? Нужно оглянуться назад. Нужно.

Подумать только: здесь стоял дом художника Турвальда Тургенсена Хагбарда, который был другом Эдварда Мунка. Работал с ним. Да мало работал, как пить дать, бражничал. Кто знает, а ведь сидели два творца на террасе дома, который сгорел, и смотрели, как протекает неспешная жизнь на тогда еще многолюдной Бринкенгате. Потягивали красное вино, а если погода была ненастной, то и покрепче. И ощущения были, естественно, сильнее. И мазки наносились на холст интенсивнее, смелее, ломая сложившиеся стереотипы станковой живописи. Что такое ощущения? А кто его знает. Чем и славен Эдвард Мунк, что преподнес миру не фотографию увиденного, а свои ощущения, что увидел. Предвижу вопросы. А почему обыватель сей грешной земли должен вникать в ощущения двух гуляк после доброй бутылки аквавита. Уверяю вас: никто никому не должен. И вникать никуда и ни во что не нужно. Но, наверное, что-то есть в их восприятии окружающего мира и переносе этого восприятия на холст, если Мунк стал признанным мировым художником. Он подарил городу коллекцию своих картин, а благодарные норвежцы построили музей в память его творчества. Но почему затерялся в истории его приятель, Турвальд Тургенсен Хагбард, я не знаю. Хотя Интернет услужливо подбросил несколько скупых строк, что, да, был такой художник, который родился в доме №55 на Бринкенгате в семье мясника Эрика Торгенсена. Мало этого. Заботливый папаша прикупил еще домишко рядом, что под номером 59. Вот от этого дома и остался только заброшенный фундамент. Дом сгорел. Осталась только лестница, на которой я сижу. Но я не прав: память о художнике жива и несколько картин висят даже в королевском дворце. На аукционе мелькнули его картины: «Дети, ловящие крабов», «Солнце, море, дети».

Я поерзал на кирпичах. Лестница, вернее, ее остатки, холодили то, на чем сидишь. Молодец художник Alf Naosheim, который в своей очередной книге «Kristiania i Oslo №8» отразил оставшийся участок старой улицы Бринкенгате, которая уцелела от натиска ретивых архитекторов. Но восстановить дом художника Турвальда Тургенсена Хагбарда хотя бы на бумаге, он не смог. А жаль. Тем более что эти дома числились не на привычной Бринкенгате, а стояли на улице: «Которая идет под горой», проще – Подгорной. Позже ее добавляют к Бринкенгате, и Подгорная улица исчезнет.

Но остался «след от того гвоздя» – фундамент. Фундамент жив, и если разобраться в хитро-сплетениях заборов современных хозяев, то выплывает картина прошлого.

Выхожу на улицу и, прощупывая каждую доску, шаг за шагом выверяю рисунок прошлого с действительностью. Вот он, куст сирени, на участке старушки Астрид, которая видела этот дом да и сталкивалась неоднократно с хозяином дома. Но кто его знает, а может быть, неспешной походкой проходил мимо дома Астрид, которая еще не была старушкой, сам Мунк? Очень-очень даже мог и пройти. Тем более возраст художника был вполне уместный. Они были ровесниками. Если Эдвард Мунк родился в 1863 году,

то Турвальд Тургенсен – в 1862-м. Оба получили отличное образование: Турвальд – в Коппенгагене в художественной школе, Мунк – начал обучение в Государственной академии искусств и художественных ремесел, в мастерской скульптора Юлиуса Миддлтуна. В следующем году он стал изучать живопись под руководством Кристиана Крога. Оба получили известность: Турвальд – в международной выставке в Париже. Мунк – персональной выставкой в Осло, первая в Норвегии и персональная выставка какого-либо художника вообще. Так что эти парни были вполне состоявшимися.

Можно представить, как Мунк шел к своему приятелю. Шел по узенькому переулку и, не удержавшись от соблазна, срывал цветущую ветку сирени, склонившуюся через забор. Запах! Одурачивающий запах сирени. Здесь и свежесть недалекого фьорда, и душный запах пыли на улице. Аромат цветений парка Кампена, наклонившегося над Бринкенгате. Засунув сирень в лацкан пиджака, художник стоял какое-то время и наблюдал за жизнью на Бринкенгате. А она, жизнь, шла своим чередом. Погромыхивали трамваи, везущие своих беспокойных пассажиров. С ними соревновались в скорости и комфорте лихие рысаки, несущие тарантасы на рессорном ходу, скованные умельцами Кампена. Разговаривали о своем, женском, женщины, вышедшие после тяжелого трудового дня поговорить с соседками на улицу. И мальчишки. Эта вездесущая публика, которой везде нужно было успеть.

Но нет дома. Остался только фундамент. Да и переулок со стороны улицы закрыт. Нет рисунка дома. Ничего нет. Но есть память. Есть история дома. История художника Турвальда Тургенсена Хагбарда, неразрывно связанная с жизнью Эдварда Мунка. Они были разные эти художники. Разные по стилю. Но их объединяла сама жизнь. Город, в котором они выросли. И, наконец, богемность.

Мунк в 1882 году снял с шестью друзьями, в состав которых входил и наш знакомый Турвальд, студию у Стортингета – здания парламента. Кто назвал студию «Кюльт Устен», что означает «старый норвежский сыр из скисшего молока», узнать нет возможности. Руководителем студии стал Кристиан Круг. Известный к тому времени художник. Этого уже было много. Среди его учеников бездарей не было. Не удивительно, студия стала популярной среди богемы Осло. Здесь, на главной улице Осло – Карл-Юханс-гате, богема и жила, устраивая гулянки и дискуссии в Гранд кафе. Все это описал точно в те же годы и с тем же мунковским чувственным напряжением другой житель Осло, Кнут Гамсун: «...Пошел по улице Карла Юхана. Было около одиннадцати часов... Наступил великий миг, пришло время любви... Слышался шум женских юбок, короткий, страстный смех, волнующий грудь, горячее, судорожное дыхание. Вдали, у Гранда, какой-то голос звал: «Эмма!» Вся улица была подобна болоту, над которым вздымались горячие пары». Вне всякого сомнения, Гамсун и Мунк были знакомы, не столь уж велика была норвежская художественная элита. Почти сверстники. Правда, Гамсун все же был несколькими годами старше, но это уравнивалось тем, что признание пришло к Мунку чуть раньше (персональная выставка в 1889 году, где были выставлены большинство из его юношеских работ), в то время как Гамсун стал знаменитым после выхода в свет своего романа «Голод» в 1890 году. Но когда Гамсун в 1884 году приехал в Осло, он был болен и беден. «Я невольно шарю в кармане, не найдется ли там двух крон. Страсть, которая трепещет в каждом людском движении, даже тусклый свет газовых фонарей, тихая, волнующая ночь – все это начинает оказывать на меня воздействие, а воздух вокруг полон шепота, объятий, трепетных признаний, недосказанных слов, отрывистых вскриков; несколько кошек с громким мяуканьем справляют свадьбу в подворотне Блумквиста. А у меня нет даже двух крон», – признается он в «Голоде».

В Осло его литературная карьера не сложилась. Гамсун бедствует. Какая уж тут богема. И он уезжает в Штаты. Летом 1888 года Гамсун едет на родину, но не сходит с борта судна в Осло. Очень были болезненные воспоминания, связанные с этим городом. Тем же пароходным рейсом отправляется далее в Копенгаген. Там он пишет и публикует роман, выход которого обозначает его настоящий дебют в литературе.

Отныне творчеству Гамсуна сопутствует постоянный успех. «Голод» немедленно произвел сенсацию и создал репутацию серьезного писателя. Он приезжает в Осло богатым, можно и пройтись по натурщицам. Почему и нет. Двери открыты для Кнута Гамсуна. В это время художник и писатель встретились. Да и как им не встретиться. Норвежцы, лишенные собственной государственности, в середине XIX века принялись развивать национальную культуру. Появился целый сонм выдающихся деятелей искусства, литературы: Ибсен, Григ, Мунк, Круг и др. Их задача была создать собственную культуру, очистить ее от иноземного влияния.

В 1874 году на Карл-Юханс-гате открылось Grand Café, где с первых же дней стала собираться столичная богема. Богема художников наслаждается прелестями жизни. Не исключено, что в студию навещался Кнут Гамсун, который общался с Мунком. Как сообщал Туре Гамсун, сын писателя, отец был не чужд пообщаться с натурщицами в уютной студии, вдохнуть в себя богемный запах и ощутить среду творчества. Но это будет позже, когда придут деньги, слава. Оба любили жизнь, не упускали возможности поездить по Европе. Согласно рассказанному Туре Гамсуном (со слов отца), «Гамсуну и Мунку доводилось бывать вместе в Париже на литературных пирушках, когда Гамсун сорил деньгами, если в тот момент они у него водились, а Мунк же – напротив, так же на нервной почве проявлял скупость».

Мир студии манок, сладок. Оказаться в богемной среде! Это ли не мечта для начинающего живописца. А получить советы у такого признанного мастера кисти, как Кристиан Крог! В студии появились женщины, первые норвежские художницы. Уда Лессон, ставшая позже Удой Лессон Крог, была достаточно долго в пикантных отношениях с Кристианом Крогом и даже родила ему дочку. Так что благочестивый Осло имел основание высказывать свое недовольство студией на улице «Утренних цветов». Когда в 1908 году казна купила картину «На следующий день» (женщина после бурной ночи), в газетах писали: «Отныне горожане не смогут водить своих дочерей в Национальную галерею. Доколе пьяным проституткам Эдварда Мунка будет разрешено отсыпаться с похмелья в государственном музее?»

Тем не менее богема студии прочно оккупировала излюбленное место: Гранд кафе, размещенное в Гранд отеле. Здесь сто лет назад ежедневно собирался весь город: франты флиртовали с дамами, студенты пили пунш, а аристократы беседовали о политике. Самым почетным завсегдатаем Гранд кафе был драматург Генрих Ибсен. Он каждый день приходил сюда ровно в полдень и ни минутой позже, садился за столик в углу, заказывал две постные булочки и разворачивал газету. У Ибсена в кафе было четыре персональных бокала – для водки, пива, портвейна и виски – и собственный стул с его инициалами и табличкой «Зарезервировано для доктора Ибсена». Конечно, в силу возраста, он все-таки был с 1828 года, он не мог конкурировать с богемой из «Кюльт Устен». Посему осуждающе сверкал кругляшками очков в сторону смеха, направленного в его адрес. Он был действительно карикатурен, этот гений. Его фигура стала популярной эмблемой, и ее часто можно встретить в городе – Ибсен-клякса, толстый коротышка с тросточкой и безошибочно узнаваемой смешной растительностью на лице – не то двухвостая борода, не то распухшие и свисающие с щек тяжелыми мешочками бакенбарды, и еще с маленькими круглыми очками вместо глаз. Не то переодевшийся тролль, не то постаревший и переродившийся Вини Пух – вот он поднимет сейчас палку и от души поколотит своих излишне смелых интерпретаторов.

Осло – конечно, город Мунка. Семья жила в разных местах. Два дома, где прошла мунковская юность, подальше от центра, на Фосфайен, в те времена и вовсе окраина. Если бы художник увидел на баскетбольной площадке, что тон задают чернокожие юноши, он был бы несказанно удивлен. В наши дни нет смысла спрашивать, откуда они взялись в стране, не имевшей заморских владений. Как нет смысла удивляться, проезжая к Музею Мунка, что за окном – один из другим дивно пахучие и ярко цветастые пакистанские кварталы, резко нарушающие блондинистую гамму города. Собственно его приятель Тургенсен Хагбард тоже оказался бы в интересной ситуации. По старой Бринкенгате не бредут норвежские пилигримы, а важно, степенно, как только могут африканцы, шествуют чернокожие мамы, толкая четырехместные коляски, из которых выглядывают забавные темные рожицы. Другой дом мунковского детства – тоже в центре, на Пилестредет. Он цел и расписан боевыми знаками леворадикальной организации «Leve Blitz» – там что-то вроде их штаб-квартиры; на торце, по голому кирпичу – мастерски воспроизведенный мунковский «Крик».

В поисках тишины и покоя Мунк стремится к уединению. Он менял места по берегам Осло-фьорда, пока в 1916 году не обосновался в усадьбе Экелю в северной части Осло, на склоне холма. Дом снесен в 60-м. На его месте небольшой паркинг и, главное, – тот же вид на Осло-фьорд, который Мунк видел и рисовал последние двадцать семь лет жизни. Имение Экелю он не покидал уже до конца своих дней. Умер Мунк 23 января 1944 года.

Художник Турвальд Тургенсен Хагбард затерялся в тени своего великого друга. Дом на Бринкенгате сгорел. Где он жил, как работал, неизвестно. Знаем, что в 1927 году он переехал в деревню Гемме, где и прожил остаток жизни. Умер Турвальд Тургенсен Хагбард в 1943 году. Мунк пережил его на один год. Гамсун шел по жизни своим путем и надолго пережил своих соотечественников.

О тех временах столетней давности напоминает большое панно, висящее в кафе. Оно было написано в 1932 году потомственным художником Пером Крогом. Самое почетное место на панно занимает круглолицый господин с бокалом в правой руке – отец художника, Кристиан Крог, также работавший над интерьерами отеля. Он и сейчас рядом, воплощенный в памятник. Грузно сидит маэстро живописи в своем кресле и смотрит на любимое им место: Гранд кафе.

Сейчас Карл-Юханс-гате – точно такой же, как в мунковско-гамсуновские годы. Это излюбленный променад не только норвежцев, но и туристов. Он не велик: от вокзала до Стортингета. От Стортингета до королевского дворца – обычная улица. Все так же, только теперь знаменитости сидят в Гранд кафе на огромной фреске: и Гамсун, и Мунк, и Ибсен и прочие славные имена, которых в Норвегии много.

В выходные на Карл-Юханс-гате выходит нарядно одетый средний класс – украшение любой зажиточной страны, несбыточная мечта моего отчества.

Ирина КОРОТЧЕНКОВА



Пора домой

Очередной темой на уроке корейского языка была очень важная для Кореи тема – «Фотография». Наша замечательная учительница Ли Сорим рассказывала нам, какие фразы необходимо использовать, когда приходишь в салон, чтобы сделать профессиональную фотографию. В каждом корейском доме на самом видном месте стоят фотографии всей семьи, но не любительские, а сделанные в фотоателье. Семья для корейцев – это святое, и все, напоминающее о родных, должно быть выполнено очень красиво.

– Вот как раз пару дней назад мы всей семьей ходили в фотосалон, – рассказывала Ли Сорим, – и сделали очередную семейную фотографию.

А мой дядя заодно заказал себе еще и посмертное фото.

- Ваш дядя тяжело болен, умирает? – в ужасе спросили мы.
- Да нет, жив и здоров, ему всего сорок пять лет.
- А для чего же ему нужна посмертная фотография?
- А вот это – отдельный разговор. Если хотите, расскажу.

В Корею у каждого человека есть три знаменательные даты, которые широко отмечаются семьей, друзьями и знакомыми, и всю сознательную жизнь корейцы копят на это деньги. Первая дата – это годовщина ребенка по солнечному календарю. Возраст в Корею рассчитывается не так, как в западных странах, а с момента зачатия, то есть по лунному календарю. Говорят, именно в этот миг душа будущего ребенка вселяется в тело и начинается новая жизнь. Однако в анкетах указывается и реальный день рождения, по солнечному календарю. То есть корейцы всегда указывают две даты рождения. Вторая знаменательная дата – это день свадьбы. И третья – похороны.

В Корею есть такая примета: если подготовиться к похоронам заранее – будешь жить очень долго. Заранее делается посмертное фото, которое периодически обновляется. Заранее готовятся погребальные светло-бежевые одежды, и заранее покупается место захоронения. Здесь нет таких кладбищ, к каким мы привыкли у себя в стране. В Корею считается, что человек должен быть захоронен в горах. Равнины – для живых, а горы – для мертвых. Поэтому каждая семья заранее выкупает полянку на горе ее обустраивают, расчищают, высаживают траву и ухаживают за ней всю жизнь, даже если все члены семьи еще живы. Богатые семьи иногда выкупают целую гору и для обустройства семейного захоронения нанимают ландшафтных дизайнеров. Когда человек умирает, его хоронят на этой полянке в горах, а вместо могилы насыпают круглый холм, или томб, как здесь говорят, на который также высаживают траву. Желательно, чтобы полянка эта располагалась на южном склоне и с нее открывался хороший вид на озеро или реку и на близлежащие горы. Один мой знакомый рассказывал, когда у него диагностировали рак и стали готовить к операции, он посещал место семейного захоронения в горах каждую неделю, приводя его в порядок. Он говорил, что если операция не поможет и он уйдет в мир иной, его родителям будет трудно ездить в горы и справляться с обустройством маленького кладбища, на котором еще никто не был похоронен.

Проезжая по дорогам Кореи, можно увидеть, что каждая прогалина в горах превращена в семейное кладбище. Корея – конфуцианская страна, где главной обязанностью детей является забота о родителях. Поэтому, если ребенок умирает раньше родителей, считается, что он их предал, ушел раньше, и даже холм на его могиле не делают и похороны не проводят. В древности похороны в Корею длились три года. Один из членов семьи поселялся в шалаше подле могилы родителей и плакал утром и вечером. И так – три года. Сейчас все меняется, и похороны в Корею длятся три дня. С разных концов страны съезжаются родственники, знакомые и сослуживцы усопшего или его детей. Траурная церемония проходит в специально арендованном зале и длится три дня. У входа в зал всегда сидит человек с амбарной книгой и записывает в нее имена всех пришедших, а также сколько денег они дают семье на похороны. Как правило, эта сумма составляет от 30 до 50 тысяч корейских вон (примерно 30-50 долларов). Такой обычай может показаться неэтичным, но на самом деле это делается для того, чтобы тому, у кого в будущем умрет близкий человек, дать большую сумму, чем та, которая записана в книге. Корейцы как-то спрашивали меня, правда ли, что у нас хоронят в открытом гробу и даже накладывают косметику. Я подтвердила, чем привела их в ужас. У них все по-другому. Никто не должен видеть усопшего, и в зале, где происходит прощание, гроб стоит за специальной ширмой, скрывающей его от окружающих. Перед тем

как закрыть гроб, в него кладут вещи, которые любил покойный. Раньше туда же клали ногти и волосы, которые никогда не выбрасывались, а собирались в специальные мешочки в течение всей жизни. Трехдневная траурная церемония проходит тихо и неспешно. Люди приходят, выражают соболезнования, кушают, поминают усопшего и уходят. Затем приходят другие.

Через три дня после окончания траурной церемонии гроб помещают на носилки и несут на плечах в горы, на семейное кладбище, где будет захоронен усопший. В прошлом траурными считались белые одежды, поэтому все, кто нес гроб, обязательно были в белом. Сейчас все меняется, и белые одежды уже не считаются траурными, хотя кое-где эта традиция соблюдается. Сам гроб украшают бумажными цветами – лотосами. Медленно и торжественно несут на плечах деревянную платформу с гробом, около него стоит плакальщик, которого также несут на плечах. У входа во многие корейские деревни стоит большое дерево. На него вешают похоронный цветок лотоса с гроба усопшего, как знак, что в деревне кто-то умер.

На пятый день после смерти проводят поминки, на которые собираются все члены семьи. На 49-й день – еще одни поминки. В буддизме считается, что именно через семь недель после смерти душа уходит в другой мир.

Корейцы, как и многие другие народы, верят в приметы, и их здесь множество. Возможно, это наследие шаманизма, который царил в этой стране на протяжении многих веков. Например, беременные женщины не едят утку, а то может родиться ребенок с перепонками между пальцев. Выпавший зуб бросают на крышу и загадывают желание – оно должно сбыться. Стучать ногами по полу – очень плохая примета. Это означает, что ты никогда не будешь счастлив. Уронишь на пол палочки для еды – удача от тебя отвернется. Если кричит сорока, а их здесь множество, значит, скоро придет гость с хорошими новостями. Если же вы услышите воронье карканье, то это знак, что кто-то умрет. К счастью, ворон в Корее совсем нет, так как нет мусорных свалок, и везде такая чистота, что им просто нечем питаться. Поэтому эта примета постепенно отмирает. Существуют и приметы, связанные с похоронами. Считается дурным знаком наступать на порог дома. Говорят, это приносит беду. И только один-единственный и последний раз наступают на порог – когда из дома выносят гроб с телом усопшего. В день похорон на порог кладут коврик, на него ставят гроб. Коврик раскалывается, и это означает, что сделан последний шаг, и человек уже больше никогда не вернется в свой дом.

В Корее существует поверье, что человек должен умирать дома, в окружении родных и близких. Если кто-то умирает в больнице, вне дома – это очень плохо. Поэтому, когда дни человека сочтены, его отправляют домой. За пожилыми людьми здесь заботливо ухаживают родственники, следуя основным законам конфуцианства. Неподалеку от нашего дома находится большой госпиталь Чеомдан. Мы часто наблюдаем, как в парк, примыкающий к госпиталю, вывозят пожилых людей на прогулку их родственники. Они терпеливо катают по аллеям парка своих мам, пап, бабушек и дедушек, сидящих в инвалидных креслах, а за креслом везут капельницу на колесиках. Недавно наблюдала, как совсем маленькая девочка, лет десяти, не более, вывезла на прогулку свою очень старенькую бабушку или прабабушку. Девочке было тяжело катить кресло и капельницу, но она справлялась, периодически поправляла одеяло на бабушкиных коленях и спрашивала, все ли хорошо. Эта картина до сих пор стоит у меня перед глазами. Чтобы ни говорили о Корее и людях, в ней живущих, достаточно посмотреть вот на такую девочку, катающую по парку свою старенькую бабушку. И сердце сожмется, и задумаешься, ну почему у нас не так?

К сожалению, все имеет конец, в том числе и наша жизнь. Наступает момент, когда врачи в больнице говорят пациенту: «Пора домой!». Это означает, что его жизненный путь подошел к концу.



Com.

Tiraj 1000 (3500) ex.

Î.S. Firma editorial-poligrafică «Tipografia Centrală»

MD-2068, Chişinău, str. Florilor, 1

Tel. 43-03-60, 49-31-46